Анна Андреевна Ахматова
Стихотворения

«Я научила женщин говорить…»

В зрелые годы Анна Ахматова гордилась тем, что Корней Чуковский, в статье о «Поэме без героя», назвал ее мастером исторической живописи. Она приходила в отчаянье, когда из ее сборников в 40-е, 50-е и даже в либеральные 60-е редакторы с неизменным постоянством изымали все, что не укладывалось в рамки «любовной лирики». Тогда-то и написала часто цитируемую эпиграмму: «Я научила женщин говорить… Но, Боже, как их замолчать заставить?» Но это реакция раздражения на конкретную ситуацию, а, по существу в том, что именно она научила русскую женщину говорить по-своему и о своем, Ахматова как раз и видела назначенное ей свыше Предназначение. По ее мнению, в предреволюционной России к середине десятых годов обозначился социальный заказ на женский поэтический голос. Вакансия – на роль примадонны Серебряного века – была одна, претенденток несколько, однако по воле рока досталась именно ей. Уникальный, серебряный, театр русской поэзии не продержался и до первого, десятилетнего юбилея. После семилетия войн и революций все стало иным: рифмы, темы, дикция. Зато прима серебряной сцены оказалась задуманной надолго. Это ее – низким, неповторимым голосом проголосил ужас большого террора в бессмертном «Реквиеме»:

Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой,
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.

Большой террор – не последний ужас и всего ахматовского поколения и лично Ахматовой. Ей, как и многим, «суровая эпоха» еще не раз ломала и подменяла жизнь и судьбу. Загоняла в никогда и в никуда:

Один идет прямым путем,
Другой идет по кругу…
А я иду – за мной беда,
Не прямо и не косо,
А в никуда и в никогда,
Как поезда с откоса.

Но она-то не гнулась и не ломалась: выкарабкивалась из-под откоса и двигалась навстречу тайному зову: «Многое еще наверно хочет быть воспето голосом моим…» Больше того, когда пришла пора подводить итоги, Анна Всея Руси оглянулась – назад, глянула – окрест и ахнула: она, единственная, ни разу не отреклась от наследства, ни разу не усомнилась в ценности завещанного, хотя средь законных и полу-законных наследников великой русской культуры вовсе не числилась наипервейшей:

Казалось мне, что песня спета
Средь этих опустелых зал.
О, кто бы мне тогда сказал,
Что я наследую все это:
Фелицу, лебедя, мосты

И все китайские затеи,

Дворца сквозные галереи
И липы дивной красоты.
И даже собственную тень,
Всю искаженную от страха,
И покаянную рубаху,
И замогильную сирень.

Как всегда, Ахматова не отрывается от конкретики, в данном тексте – от реалий своей малой родины – Царского Села: Державинского – времен Фелицы (Екатерины Второй), Пушкинского, Тютчевского… Но при этом ей удается не поссорить два столь разных века, совместить в пространстве стиха легендарный город муз с тем страшным железнодорожным пунктом, на вокзале которого 1 сентября 1921 года Анна Ахматова своими глазами увидела имя Николая Степановича Гумилева в газетном сообщении о расстреле членов контрреволюционной Боевой Организации. На том самом вокзале, где они назначали свидания в первой юности… Больше того, именно Ахматовой каким-то чудом удалось соединить, казалось бы, несоединимое: модерн и классику, изысканность и простонародность, графическую четкость стиля и почти говорную интонацию живой речи…

Анна Андреевна Ахматова родилась 11 июня (по старому стилю) 1889 года в Одессе в семье потомственного моряка – отставного инженер-капитана второго ранга Андрея Антоновича Горенко и Инны Эразмовны, урожденной Стоговой. Вскоре после ее рожденья семья переехала в Царское Село, где Горенки прожили до лета 1905 года. Здесь, в городе поэтов, Анна одиннадцати лет от роду написала первое стихотворение, здесь же, еще гимназисткой, познакомилась с будущим мужем Николаем Гумилевым. Летом 1905-го супруги Горенки разошлись, Андрей Антонович остался в Петербурге, а Инна Эразмовна с детьми уехала к родственникам, на юг. Жили сначала в Евпатории, затем перебрались в Киев. В Киеве Анна Горенко закончила гимназию и некоторое время училась на юридических курсах. В апреле 1910 года она вышла замуж за Николая Степановича Гумилева. После венчания молодые отправились в Париж, а по возвращении поселились в доме матери Николая Степановича, в Царском Селе. Осенью Гумилев, взяв отпуск в университете, уехал в Африку. На целых полгода. За это время «полуброшенная новобрачная» успела написать книгу стихов, решительно не похожих на прежние – прежние мало чем отличались от поэтических упражнений обыкновенной провинциальной барышни. Во всяком случае, так считал Гумилев и потому советовал жене заняться чем-нибудь другим. Например, танцами.

Однако вернувшись из африканских странствий, все-таки спросил – нет ли в ее синей тетради новых «поэз». Услышанное настолько удивило Гумилева, что он немедленно взялся за подготовку их издания.

На подготовку ушло чуть более полугода, и в начале 1912 года первый сборник Анны Ахматовой «Вечер» вышел в свет. Тираж был крохотный, 300 экземпляров, но его заметили. И оценили. И читатели, и критики. Георгий Чулков, влиятельный литератор и друг Блока, не стал даже дожидаться появления книги. Вот что писал Чулков о самых первых журнальных ахматовских публикациях еще в декабре 1911-го и, не где-нибудь, в респектабельной столичной газете «Утро России»: «Изысканность поэтического дара Ахматовой в утонченности переживаний. Почти в каждом стихотворении…, как в бокале благоуханного вина, заключен тайно смертельный яд иронии».

Год 1912 в судьбе Анны Ахматовой отмечен не только выходом «Вечера». В том же году, в сентябре, у нее родился сын – Лев, друзья Гумилевых тут же перекрестили его в Гумильвенка. Вообще, в этом счастливом и щедром году судьба все время делала ей подарки. Например, в канун 1912-го открылось литературное кафе «Бродячая собака». Выступления в этом легендарном подвальчике с чтением своих стихов помогли Ахматовой преодолеть

природную застенчивость, и она из почти дурнушки, слишком высокой, худой и горбоносой, превратилась в одну из самых прелестных женщин предвоенного Петербурга. У нее появился звездный шлейф – свита поклонников:

Пленник чужой! Мне чужого не надо,
Я и своих-то устала считать…

Впрочем, женский успех, хотя и не способствовал семейному ладу, творчеству ничуть не мешал. Наоборот! Стихи шли тугой волной и становились все совершенней: утонченность авторского переживания сочеталась с общедоступностью (в том смысле, в каком общедоступным считался Московский Художественный театр). К зиме 1913 был готов второй, самый популярные сборник Ахматовой – «Четки». Когда обсуждался вопрос о тираже «Четок» (ранней весной 1914), Гумилев, по воспоминаниям Анны Андреевны, «задумчиво сказал: „А может быть, ее придется продавать в каждой мелочной лавке“.

В каждой мелочной лавке «Четки», конечно, не продавались, но общую ситуацию Николай Степанович угадал точно: именно «Четки», переизданные бесчисленное количество раз, сделали имя ее автора – Анна Ахматова – знаменитым. Некоторые из современниц утверждают, что Ахматова не выдержала испытания первой славой, другие, наоборот, свидетельствуют, что даже ранняя слава не освободила ее от неуверенности в себе. Эту затаенную неуверенность выдает автопортрет 1914 года:

Как не похожа на полет
Походка медленная эта,
Как будто под ногами плот,
А не квадратики паркета.

Горькие строки написаны ранним летом 1914 года, когда семейные неурядицы чуть было не кончились разводом, инициатором которого был Гумилев, и только вмешательство свекрови притушило конфликт. К тому же вскоре началась война, Гумилев добился направления в действующую армию, чуть было не расставшиеся супруги опомнились, сообразив, что их связывает нечто большее, чем влюбленность. В одно из писем на фронт Анна Андреевна вложила такие стихи:

А теперь пора такая,
Страшный год и страшный город.
Как же можно разлучиться
Мне с тобой, тебе со мной?

Оказалось можно: Гумилев всерьез увлекся Ларисой Рейснер, тогда еще молоденькой поэтессой, а не Валькирией Революции, а Ахматова художником Борисом Анрепом. Анреп жил и работал в Англии, но, сразу по объявлении войны, вернулся на родину, чтобы выполнить свой офицерский долг. Анрепу посвящены любовные циклы в третьей книге Ахматовой «Белая стая».

Словом, от недавних надежд на сохранение брака к концу 1916-го не осталась и следа: и Лариса Рейснер, и Борис Анреп были слишком яркими людьми, чтобы супруги Гумилевы могли делать вид, будто ничего серьезного в их маленькой семье не произошло. Впрочем, корень разлада был не только в «холоде измен». Война, а затем революция разворотили привычный быт и как бы отменили все прежние нравственные обязательства. Очень точно сказал об эмоциональном климате тех лет Сергей Есенин: «Хлестнула дерзко за предел нас отравившая свобода». Вдобавок мать Гумилева продала дом в Царском Селе и, забрав внука, уехала в Бежецк, уездный городок в Тверской губернии, неподалеку от ее наследственного

имения – деревушки Слепнево. Жилье, которое Анна Ивановна Гумилева приобрела на вырученные деньги, было достаточно просторным, но жить там Ахматова, конечно же, не могла. Пришлось «скитаться наугад за кровом и за хлебом». К счастью, у подруги ее детства Валерии Сергеевны Тюльпановой, по мужу Срезневской, была большая квартира, где Анне Андреевне всегда были рады. У Срезневских ее и разыскал Гумилев, когда весной 1918 года вернулся наконец в Петроград. Разыскал с твердым намерением повиниться и начать новую жизнь, но Анна Андреевна его огорошила: попросила развод, объяснив, что выходит замуж за его друга Владимира (Вольдемара) Шилейко. Николай Степанович не поверил. О том, что их общий приятель, ученый ассириолог, сильно неравнодушен к его жене, он догадывался давно, но никаких ответных чувств за Анной не замечал. Да их, по-видимому, и не было: и двух лет не прошло, как нелепый этот брачный союз распался, Шилейко уехал в Москву, оставив Ахматовой собаку и казенную квартиру в бывшем Мраморном дворце.

Может быть, расставание с Шилейко и не было бы столь решительным, если бы не катастрофа 1921 года. В августе этого года был арестован и приговорен к расстрелу Николай Гумилев якобы за участие в контрреволюционном заговоре. Подробностей Анна Андреевна не знала, не знаем их и мы, но до конца жизни была убеждена, что виновата в гибели отца своего единственного ребенка. Если бы не она, Николай Степанович не вернулся бы в коммунистическую Россию, а остался на Западе, как и многие его однополчане… В худшем случае, перебрался бы, через Латвию или Эстонию, за границу: в первые послереволюционные годы это было хотя и рискованно, но возможно…

По иронии судьбы, трагическая осень 1921 года застигла Анну Андреевну на взлете творческого успеха. С началом нэпа оживилось получастное, кооперативное книгоиздательство, и прежде, чем его придушат, Ахматова успеет издать целых три книги, «Подорожник» и два издания «Anno Domini».

В 1922 году в ее жизни произойдет и еще одно событие: надолго, на целых пятнадцать лет, она свяжет свою судьбу с судьбой талантливого искусствоведа Николая Николаевича Пунина. Брак этот в некотором роде был «преступным» и, на взгляд со стороны, странным: сойдясь по большой и взаимной любви с Анной Андреевной Ахматовой и даже прописав ее в своей квартире, в легендарном Фонтанном Доме, Пунин официально не разошелся с прежней женой Анной Евгеньевной Арене. И не только из-за мягкотелости и бесхарактерности. Как свидетельствует их переписка, недавно изданная, Николай Николаевич до самой смерти Анны Евгеньевны относился к ней как к самому близкому, а главное – верному другу. Ахматова это, конечно, чувствовала и при первой же возможности сделала попытку освободить Пунина, взять на себя инициативу окончательного разрыва. Окончательному разрыву помогли три обстоятельства. Первое было трагическим: осенью 1938 года арестовали и приговорили к пяти годам каторги ее сына, студента истфака Ленинградского университета Льва Николаевича Гумилева. Два других, поначалу, пообещали какую-то надежду на продолжение жизни, как личной, так и творческой. Согласно легенде, Сталин, заметив, что его дочь Светлана переписывает в свою тетрадь стихи Ахматовой из какой-то сильно потрепанной книжицы, поинтересовался у придворных литчиновников, жива ли она и почему не издается. Мимолетного интереса со стороны «отца народов» оказалось достаточным, чтобы толстые журналы обеих столиц стали выпрашивать у забытой поэтессы новые стихи. Ахматова, наперекор всему, создает шедевр за шедевром. Вслед за арестными стихами из «Реквиема», завершен посвященный Пунину лирический цикл «Разрыв», начат цикл «Венок мертвым», создан первый вариант «Поэмы без героя»… Казалось бы, кончилось десятилетие «немоты». О том, чтобы публиковать хотя бы фрагменты из «Реквиема» речи не было, эти крамольные тексты заперты в «подвале памяти», однако в 1940-м у Ахматовой все-таки вышел вполне приличный по объему сборник «Из шести книг», в который вошла и лирика конца тридцатых годов. Вторая удача предвоенных лет – встреча с ученым-медиком профессором Владимиром Георгиевичем Гаршиным. Встреча была случайной (Гаршин, по просьбе общих знакомых, помог Анне Андреевне лечь на исследование в больницу в связи с

резким обострением базедовой болезни), но оказалась судьбоносной. Об этом свидетельствует стихотворение, написанное ранней зимой 1938 года «Годовщину веселую празднуй…», а также лирическое отступление в первом из вариантов «Поэмы без героя»:«Ты мой грозный и мой последний, Светлый слушатель темных бредней: Упоенье, прощенье, честь».

Ахматова, по обыкновению, преувеличивает, но в данном случае не слишком: Гаршин действительно был человеком незаурядным и на редкость обаятельным. Правда, он, как и Пунин, был женат и хотя, в отличие от Пунина, никогда не отказывал себе в необременительных романах с красивыми и молодыми женщинами, к своим семейным обязанностям относился со старомодной серьезностью. К тому же очень любил младшего сына… Чем бы обернулся затянувшийся почти на три года роман двух уже сильно немолодых людей, неизвестно, но началась война… Ахматову, по распоряжению, видимо, Сталина, вывезли из блокадного Ленинграда на военном самолете сначала в Москву, затем в Ташкент. Гаршин от эвакуации отказался. Разность опыта военных лет – блокадного для Гаршина, и сравнительно благополучного для Ахматовой, – и развела их. Для Ахматовой этот был тяжкий удар. Она была настолько уверена в привязанности Владимира Георгиевича, что открыто, на людях, упоминая его имя, добавляла, что это ее муж. Гаршин и в самом деле, овдовев осенью 1942-го, сделал Ахматовой официальное предложение в письменном виде и стал регулярно высылать в Ташкент деньги. Однако вскоре после этого опрометчивого предложения, внезапно сошелся с женщиной, которую знал с юности – все страшные годы блокады она была ему верной и надежной помощницей, и в работе, и в заботе.

Впрочем, от этого удара судьбы Анна Ахматова оправилась относительно быстро, ибо жизнь опять почти улыбалась ей. После того, как патриотическое стихотворение «Мужество» в феврале 1942 года было опубликовано в «Правде», она почти вошла в состав литературной элиты: ее устные выступления, что в Москве, что в Ленинграде, пользовались бешеным успехом, ее портреты и интервью печатали в ленинградских газетах. А главное, самое главное: за мужество, проявленное в борьбе с немецкими захватчиками, с ее сына была снята судимость, со дня на день Анна Андреевна ждала его демобилизации… Беда пришла с подветренной стороны… Поздней осенью 1945 года влиятельный питерский критик Владимир Орлов привел в гости к Ахматовой английского слависта Исайю Берлина. Уроженец России, Берлин свободно говорил по-русски… Беседа затянулась, в гостиницу славист вернулся под утро, что было тут же отмечено соответствующими органами. Конечно, в те годы любой иностранец был на подозрении, но в случае с Берлиным КГБ насторожилось не случайно: славист шатался по Ленинграду в паре с сыном самого Черчилля, а кроме того был прикомандирован к английскому посольству в качестве эксперта по русским вопросам.

Конечно, контакты с подозрительными иностранцами, читай: шпионами, в ситуации 1945 года достаточный повод, чтобы поставить на место «знаменитую ленинградку». Но только повод. Причина глубже: надлежало приструнить и напугать осмелевший за четыре года войны «стомильонный народ». Надо отдать должное Сталину: инспирированное им Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», предоставлявших свои страницы подрывным элементам в лице Ахматовой и Зощенко, так запугало советскую интеллигенцию, что Ахматова умерла, не дождавшись его официальной отмены… Впрочем, если бы Постановление 14 августа 1946 года приговаривало к гражданской смерти только ее, одну, и это испытание она бы наверняка вынесла не надорвавшись. Но этот приговор, к несчастью, увлек за собой в бездну и ее близких: 26 августа 1949 арестован, осужден и сослан в Заполярье Николай Пунин, а осенью снова арестовали Льва Гумилева… Гумилев выживет, вернется к прерванным историческим исследованиям, напишет несколько замечательных книг, которые сделают его имя широко известным всей думающей и читающей России. А вот Пунин так и умрет в ссылке, в августе 1953-го. От последствий блокадной дистрофии. На эту смерть Ахматова откликнется стихами удивительной свежести и силы:

И сердце то уже не отзовется
На голос мой, ликуя и скорбя.
Все кончено, и песнь моя несется
В глухую ночь, где больше нет тебя.

Глухая ночь затянулась для Ахматовой еще на три года: ни личные обращения к сильным мира сего, ни письма с просьбой о пересмотре дела Льва Гумилева успеха не имели. Правда, ей все-таки предоставили финский домик в дачном поселке Комарове (по тем временам литфондовская дача считалась «признанием заслуг») и даже включили в число делегатов Второго Съезда писателей, и она не отказалась от этой «чести», все еще надеясь, что перемена социального статуса окажет какое-то давление на тех, от кого зависела судьба сына. Надежда оказалась тщетной: Лев Гумилев был освобожден лишь весной 1956-го, после двадцатого Съезда партии, осудившего «культ личности Сталина». Однако вместе с великой радостью в жизнь Анны Ахматовой вошла новая большая беда: разлад с единственным сыном. Лев Николаевич вернулся из «каторжных нор» убежденным, что во всех его неудачах виновата «плохая мать» – ленивая, равнодушная, занятая собой… Эту последнюю свою боль Анна Андреевна скрывала даже от самых близких друзей. И сына простила… А скрытая боль делала свое смертоносное дело: инфаркт следовал за инфарктом… Однако Анна Ахматова продолжала работать: вписывала новые строфы в «Поэму без героя», вернулась к отложенным в год большого террора пушкинским штудиям. Много сил отнимали переводы, а также воспоминания о современниках: Блоке, Мандельштаме, Михаиле Лозинском. Последнее десятилетие своей жизни, с весны 1956, Анна Андреевна нарекла «плодоносной осенью». Осень Анны Всея Руси и впрямь оказалась почти погожей, во всяком случае, она успела дожить до поры сбора урожая, итога трудов и дней. В июне 1962 по Москве «бродил слух», что Анна Ахматова выдвинута на Нобелевскую премию. Якобы по совокупности заслуг перед русской культурой, но на самом деле за «Реквием» и «Поэму без героя», которые, как и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, были опубликованы только на Западе… Слух, к счастью, оказался всего лишь слухом – и все вздохнули с облегчением, в том числе и сама Анна Андреевна: судьба и на этот раз смилостивилась над ней, избавила от участи Пастернака, которого вынудили отказаться от почетной премии. Однако и партийное начальство явно не хотело повторения недавнего скандала, особенно теперь, после преждевременной смерти его виновника. Во всяком случае, в визе на поездку в Италию на вручение международной премии «Этна-Теормина» (декабрь 1964) Ахматовой отказано не было. Больше того, на этом торжестве ее свиту составляли наипервейшие лица тогдашней литературной элиты: Александр Твардовский, Константин Симонов, Микола Бажан, Алексей Сурков. В Италии до нее дошла и еще одна потрясающая новость: Оксфордский университет принял решение о присуждении госпоже Ахматовой почетного звания – доктор литературы. На обратном пути из Лондона, летом 1965 года, ей удалось на несколько дней задержаться в Париже и встретиться с друзьями своей юности: поэтом и критиком Георгием Адамовичем, учеником Николая Гумилева, художниками Дмитрием Бушиным и Юрием Анненковым – и тому, и другому Анна Андреевна когда-то позировала… Увиделась она и с одним из главных героев своей любовной лирики – Борисом Васильевичем Анрепом. Со дня их расставания, в октябре 1917, прошло без малого полвека…

Однако самым главным итогом зарубежных триумфов Великой княгини русской поэзии (этот титул присвоили ей итальянцы на церемонии вручения премии «Этна-Теормина») была стремительность, с какой прошел через советскую цензуру ее последний прижизненный сборник «Бег времени», очень красивый, с портретом работы Амедео Модильяни на белоснежной глянцевой суперобложке. 8 мая 1985 года рукопись ушла в набор, в октябре она уже дарила друзьям элегантные томики… А через месяц ее свалил очередной четвертый инфаркт. Врачи не верили, что Анна Андреевна поднимется. Но она поднялась и в феврале выписалась из больницы с условием, что немедленно, на следующий же день отправится в

кардиологический санаторий. К несчастью, так быстро организовать перевозку в Домодедово не удалось, в санаторий Анна Ахматова попала лишь через несколько дней. Там она и скончалась – 5 марта 1956 года, в тринадцатую годовщину смерти Сталина.

Отпевали Анну Всея Руси в Ленинграде в Никольском Морском соборе, а похоронили там, где нашла бедный уют ее плодоносная осень, – на Комаровском кладбище.

Алла Марченко

ЛИРИКА

* * *

Молюсь оконному лучу
Он бледен, тонок, прям.
Сегодня я с утра молчу,
А сердце – пополам.
На рукомойнике моем
Позеленела медь.
Но так играет луч на нем,
Что весело глядеть.
Такой невинный и простой
В вечерней тишине,
Но в этой храмине пустой
Он словно праздник золотой
И утешенье мне.

3 ноября 1910, Киев

ЧИТАЯ «ГАМЛЕТА»
1

У кладбища направо пылил пустырь,
А за ним голубела река.
Ты сказал мне: «Ну что ж, иди в монастырь
Или замуж за дурака…»
Принцы только такое всегда говорят,
Но я эту запомнила речь, —
Пусть струится она сто веков подряд
Горностаевой мантией с плеч.

2

И как будто по ошибке
Я сказала: «Ты…»
Озарила тень улыбки
Милые черты.
От подобных оговорок
Всякий вспыхнет взор…

Я люблю тебя, как сорок
Ласковых сестер.

1909

*** * ***

И когда друг друга проклинали
В страсти, раскаленной добела,
Оба мы еще не понимали,
Как земля для двух людей мала,
И что память яростная мучит,
Пытка сильных – огненный недуг!
И в ночи бездонной сердце учит
Спрашивать: о, где ушедший друг?
А когда, сквозь волны фимиама,
Хор гремит, ликуя и грозя,
Смотрят в душу строго и упрямо
Те же неизбежные глаза.

1909

*** * ***

То ли я с тобой осталась,
То ли ты ушел со мной,
Но оно не состоялось,
Разлученье, ангел мой!
И не вздох печали томной,
Не затейливый укор,
Мне внушает ужас темный
Твой спокойный ясный взор.

1909

ИЗ ЗАВЕЩАНИЯ ВАСИЛЬКИ

А княгиня моя, где захочет жить,
Пусть будет ей вольной воля,
А мне из могилы за тем не следить,
Из могилы средь чистого поля.
Я ей завещаю все серебро
…

1909(?)

*** * ***

Сладок запах синих виноградин…
Дразнит опьяняющая даль.

Голос твой и глух и безотраден,
Никого мне, никого не жаль.

Между ягод сети-паутинки,
Гибких лоз стволы еще тонки,
Облака плывут, как льдинки, льдинки
В ярких водах голубой реки.

Солнце в небе. Солнце ярко светит.
Уходи к волне про боль шептать.
О, она наверное ответит,
А быть может, будет целовать.

16 января 1910, Киев

*** * ***

Н.Г.

Jen’aurai pas l’honneur sublime
Dedonnermonnomal’abome
Quimeservirade Tombeau

Baudelaire [1]

I

Пришли и сказали: «Умер твой брат!»
Не знаю, что это значит.
Как долго сегодня кровавый закат
Над крестами лаврскими плачет…
…
…
А то, что прежде пело во мне,
Куда-то вдаль улетает.

II

Брата из странствий вернуть могу,
Милого брата найду я,
Я прошлое в доме моем берегу,
Над прошлым тайно колдуя.

III

«Брат! Дождалась я светлого дня.
В каких скитался ты странах?»

1

«Сестра, отвернись, не смотри на меня,
Эта грудь в кровавых ранах».
«Брат, эта грусть – как кинжал остра,
Отчего ты словно далёко?»
«Прости, о прости, моя сестра,
Ты будешь всегда одинока».

25 января 1910, Киев

*** * ***

Синий вечер. Ветры кротко стихли,
Яркий свет зовет меня домой.
Я гадаю: кто там? – не жених ли,
Не жених ли это мой?…

На террасе силуэт знакомый,
Еле слышен тихий разговор.
О, такой пленительной истомы
Я не знала до сих пор.

Тополя тревожно прошуршали,
Нежные их посетили сны,
Небо цвета вороненой стали,
Звезды матово-бледны.

Я несу букет левкоев белых.
Для того в них тайный скрыт огонь,
Кто, беря цветы из рук несмелых,
Тронет теплую ладонь.

Сентябрь 1910, Царское Село

*** * ***

Я написала слова,
Что долго сказать не смела.
Тупо болит голова,
Странно немеет тело.

Смолк отдаленный рожок
В сердце все те же загадки,
Легкий осенний снежок
Лег на крокетной площадке.

Листьям последним шуршать!
Мыслям последним томиться!
Я не хотела мешать
Тому, кто привык веселиться.

Милым простила губам

Я их жестокую шутку…
О, вы приедете к нам
Завтра по первопутку.

Свечи в гостиной зажгут,
Днем их мерцанье нежнее,
Целый букет принесут
Роз из оранжереи.

Осень 1910, Царское Село

*** * ***

Весенним солнцем это утро пьяно,
И на террасе запах роз слышней,
А небо ярче синего фаянса.
Тетрадь в обложке мягкого сафьяна;
Читаю в ней элегии и стансы,
Написанные бабушке моей.

Дорогу вижу до ворот, и тумбы
Белеют четко в изумрудном дерне.
О, сердце любит сладостно и слепо!
И радуют пестреющие клумбы,
И резкий крик вороны в небе черной,
И в глубине аллеи арка склепа.

2 ноября 1910, Киев

ОН ЛЮБИЛ…

Он любил три вещи на свете:
За вечерней пенье, белых павлинов
И стертые карты Америки.
Не любил, когда плачут дети,
Не любил чая с малиной
И женской истерики.
…А я была его женой.

9 ноября 1910, Киев

*** * ***

На столике чай, печения сдобные,
В серебряной вазочке драже.
Подобрала ноги, села удобнее,
Равнодушно спросила: «Уже?»
Протянула руку. Мои губы дотронулись
До холодных гладких колец.
О будущей встрече мы не условились.

Я знал, что это конец.

9 ноября 1910, Киев

ПЕРВОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

На землю саван тягостный возложен,
Торжественно гудят колокола,
И снова дух смятен и потревожен
Истомной скукой Царского Села.
Пять лет прошло. Здесь всё мертво и немо,
Как будто мира наступил конец.
Как навсегда исчерпанная тема,
В смертельном сне покоится дворец.

1910

СЕРОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ

Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.

Вечер осенний был душен и ал,
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:

«Знаешь, с охоты его принесли,
Тело у старого дуба нашли.

Жаль королеву. Такой молодой!…
За ночь одну она стала седой».

Трубку свою на камине нашел
И на работу ночную ушел.

Дочку мою я сейчас разбужу,
В серые глазки ее погляжу.

А за окном шелестят тополя:
«Нет на земле твоего короля…»

11 декабря 1910, Царское Село

*** * ***

Сжала руки под темной вуалью…
«Отчего ты сегодня бледна?»
– Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь,

Искривился мучительно рот…
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Всё, что было. Уйдешь, я умру»
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

8 января 1911, Киев

*** * ***

Дверь полуоткрыта,
Веют липы сладко…
На столе забыты
Хлыстик и перчатка.

Круг от лампы желтый.
Шорохам внимаю.
Отчего ушел ты?
Я не понимаю…

Радостно и ясно
Завтра будет утро.
Эта жизнь прекрасна,
Сердце, будь же мудро.

Ты совсем устало,
Бьешься тише, глуше…
Знаешь, я читала,
Что бессмертны души.

17 февраля 1911, Царское Село

ПОДРАЖАНИЕ И.Ф. АННЕНСКОМУ

И с тобой, моей первой причудой,
Я простился. Восток голубел.
Просто молвила: «Я не забуду».
Я не сразу поверил тебе.

Возникают, стираются лица,
Мил сегодня, а завтра далек.
Отчего же на этой странице
Я когда-то загнул уголок?

И всегда открывается книга
В том же месте. И странно тогда:
Всё как будто с прощального мига
Не прошли невозвратно года.

О, сказавший, что сердце из камня,
Знал наверно: оно из огня…
Никогда не пойму, ты близка мне
Или только любила меня.

20 февраля 1911

*** * ***

По аллее проводят лошадок.
Длинны волны расчесанных грив.
О, пленительный город загадок,
Я печальна, тебя полюбив.

Странно вспомнить: душа тосковала,
Задыхалась в предсмертном бреду.
А теперь я игрушечной стала,
Как мой розовый друг какаду.

Грудь предчувствием боли не сжата,
Если хочешь, в глаза погляди.
Не люблю только час пред закатом,
Ветер с моря и слово «уйди».

30 ноября 1911, Царское Село

*** * ***

Я пришла сюда, бездельница,
Все равно мне, где скучать!
На пригорке дремлет мельница.
Годы можно здесь молчать.

Над засохшей повиликою
Мягко плавает пчела;
У пруда русалку кликаю,
А русалка умерла.

Затянулся ржавой тиною
Пруд широкий, обмелел,
Над трепещущей осиною
Легкий месяц заблестел.

Замечаю все как новое.
Влажно пахнут тополя.
Я молчу. Молчу, готовая
Снова стать тобой, земля.

23 февраля 1911, Царское Село

* * *

Шелестит о прошлом старый дуб.
Лунный луч лениво протянулся.
Я твоих благословенных губ
Никогда мечтою не коснулся.

Бледный лоб чадрой лиловой сжат.
Ты со мною. Тихая, больная.
Пальцы холодеют и дрожат,
Тонкость рук твоих припоминая.

Я молчал так много тяжких лет.
Пытка встреч еще неотвратима.
Как давно я знаю твой ответ:
Я люблю и не была любима.

Февраль 1911

НАДПИСЬ НА НЕОКОНЧЕННОМ ПОРТРЕТЕ

О, не вздыхайте обо мне,
Печаль преступна и напрасна,
Я здесь на сером полотне,
Возникла странно и неясно.

Взлетевших рук излом больной,
В глазах улыбка исступленья,
Я не могла бы стать иной
Пред горьким часом наслажденья.

Он так хотел, он так велел
Словами мертвыми и злыми.
Мой рот тревожно заалел,
И щеки стали снеговыми.

И нет греха в его вине,
Ушел, глядит в глаза другие,
Но ничего не снится мне
В моей предсмертной летаргии.

[1912]

* * *

Я живу, как кукушка в часах,
Не завидую птицам в лесах.
Заведут – и кукую.
Знаешь, долю такую
Лишь врагу

Пожелать я могу.

7 марта 1911, Царское Село

*** * ***

Я и плакала и каялась,
Хоть бы с неба грянул гром!
Сердце темное измаялось
В нежилом дому твоем.
Боль я знаю нестерпимую,
Стыд обратного пути…
Страшно, страшно к нелюбимому,
Страшно к тихому войти.
А склонюсь к нему нарядная,
Ожерельями звеня,
Только спросит: «Ненаглядная!
Где молилась за меня?»

1911

*** * ***

Мне с тобою пьяным весело
Смысла нет в твоих рассказах.
Осень ранняя развесила
Флаги желтые на вязах.

Оба мы в страну обманную
Забрели и горько каемся,
Но зачем улыбкой странною
И застывшей улыбаемся?

Мы хотели муки жалящей
Вместо счастья безмятежного…
Не покину я товарища
И беспутного и нежного.

1911, Париж

*** * ***

…А там мой мраморный двойник,
Поверженный под старым кленом,
Озерным водам отдал лик,
Внимает шорохам зеленым.

И моют светлые дожди
Его запекшуюся рану…
Холодный, белый, подожди,

Я тоже мраморною стану.

1911

* * *

Под навесом темной риги жарко,
Я смеюсь, а в сердце злобно плачу.
Старый друг бормочет мне: «Не каркай!
Мы ль не встретим на пути удачу!»

Но я другу старому не верю.
Он смешной, незрячий и убогий,
Он всю жизнь свою шагами мерил
Длинные и скучные дороги.

И звенит, звенит мой голос ломкий,
Звонкий голос не узнавших счастья:
«Ах, пусты дорожные котомки,
Ана завтра голод и ненастье!»

24 сентября 1911, Царское Село

* * *

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.

Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни…
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.

24 сентября 1911, Царское Село

ПЕСНЯ ПОСЛЕДНЕЙ ВСТРЕЧИ

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,
А я знала – их только три!
Между кленов шопот осенний
Попросил: «Со мною умри!

Я обманут моей унылой,

Переменчивой, злой судьбой».
Я ответила: «Милый, милый!
И я тоже. Умру с тобой…»

Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем.

29 сентября 1911, Царское Село

МУЗЕ

Муза-сестра заглянула в лицо,
Взгляд ее ясен и ярок.
И отняла золотое кольцо,
Первый весенний подарок.

Муза! ты видишь, как счастливы все —
Девушки, женщины, вдовы…
Лучше погибну на колесе,
Только не эти оковы.

Знаю: гадая, и мне обрывать
Нежный цветок маргаритку.
Должен на этой земле испытать
Каждый любовную пытку.

Жгу до зари на окошке свечу
И ни о ком не тоскую,
Но не хочу, не хочу, не хочу
Знать, как целуют другую.

Завтра мне скажут, смеясь, зеркала:
«Взор твой не ясен, не ярок…»
Тихо отвечу: «Она отняла
Божий подарок».

10 ноября 1911, Царское Село

*** * ***

Муж хлестал меня узорчатым,
Вдвое сложенным ремнем.
Для тебя в окошке створчатом
Я всю ночь сижу с огнем.

Рассветает. И над кузницей
Подымается дымок.
Ах, со мной, печальной узницей,
Ты опять побыть не мог.

Для тебя я долю хмурую,
Долю-муку приняла.
Или любишь белокурую,
Или рыжая мила?

Как мне скрыть вас, стоны звонкие!
В сердце темный, душный хмель,
А лучи ложатся тонкие
На несмятую постель.

Осень 1911

ОТРЫВОК

…И кто-то, во мраке дерев незримый.
Зашуршал опавшей листвой
И крикнул: «Что сделал с тобой любимый,
Что сделал любимый твой!

Словно тронуты черной, густою тушью
Тяжелые веки твои.
Он предал тебя тоске и удушью
Отравительницы любви.

Ты давно перестала считать уколы —
Грудь мертва под острой иглой.
И напрасно стараешься быть веселой —
Легче в гроб тебе лечь живой!…»

Я сказала обидчику: «Хитрый, черный,
Верно, нет у тебя стыда.
Он тихий, он нежный, он мне покорный,
Влюбленный в меня навсегда!»

26 декабря 1911

*** * ***

Безвольно пощады просят
Глаза. Что мне делать с ними,
Когда при мне произносят
Короткое, звонкое имя?

Иду по тропинке в поле
Вдоль серых сложенных бревен.
Здесь легкий ветер на воле
По-весеннему свеж, неровен.

И томное сердце слышит
Тайную весть о дальнем.

Я знаю: он жив, он дышит,
Он смеет быть не печальным.

1912, Царское Село

*** * ***

Слаб голос мой, но воля не слабеет,
Мне даже легче стало без любви.
Высоко небо, горный ветер веет,
И непорочны помыслы мои.

Ушла к другим бессонница-сиделка,
Я не томлюсь над серою золой,
И башенных часов кривая стрелка
Смертельной мне не кажется стрелой.

Как прошлое над сердцем власть теряет!
Освобожденье близко. Всё прощу,
Следя, как луч взбегает и сбегает
По влажному весеннему плющу.

Весна 1913, Царское Село

*** * ***

Здесь всё то же, то же, что и прежде,
Здесь напрасным кажется мечтать.
В доме у дороги непроезжей
Надо рано ставни запирать.

Тихий дом мой пуст и неприветлив,
Он на лес глядит одним окном.
В нем кого-то вынули из петли
И бранили мертвого потом.

Был он грустен или тайно-весел,
Только смерть – большое торжество.
На истертом красном плюше кресел
Изредка мелькает тень его.

И часы с кукушкой ночи рады,
Все слышней их четкий разговор.
В щелочку смотрю я: конокрады
Зажигают под холмом костер.

И, пророча близкое ненастье,
Низко, низко стелется дымок.
Мне не страшно. Я ношу на счастье
Темно-синий шелковый шнурок.

Май 1912, Флоренция

*** * ***

Помолись о нищей, о потерянной,
О моей живой душе,
Ты в своих путях всегда уверенный,
Свет узревший в шалаше.

И тебе, печально-благодарная,
Я за это расскажу потом,
Как меня томила ночь угарная,
Как дышало утро льдом.

В этой жизни я немного видела,
Только пела и ждала.
Знаю: брата я не ненавидела
И сестры не предала.

Отчего же Бог меня наказывал
Каждый день и каждый час?
Или это ангел мне указывал
Свет, невидимый для нас?

Май 1912, Флоренция

*** * ***

Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу.

Когда шуршат в овраге лопухи
И никнет гроздь рябины желто-красной,
Слагаю я веселые стихи
О жизни тленной, тленной и прекрасной.

Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь
Пушистый кот, мурлыкает умильней,
И яркий загорается огонь
На башенке озерной лесопильни.

Лишь изредка прорезывает тишь
Крик аиста, слетевшего на крышу.
И если в дверь мою ты постучишь,
Мне кажется, я даже не услышу.

Май 1912, Флоренция

ВЕНЕЦИЯ

Золотая голубятня у воды,
Ласковой и млеюще-зеленой;
Заметает ветерок соленый
Черных лодок узкие следы.

Столько нежных, странных лиц в толпе.
В каждой лавке яркие игрушки:
С книгой лев на вышитой подушке,
С книгой лев на мраморном столбе.

Как на древнем, выцветшем холсте,
Стынет небо тускло-голубое…
Но не тесно в этой тесноте
И не душно в сырости и зное.

Август 1912, Слепнево

*** * ***

Н. Гумилеву

В ремешках пенал и книги были,
Возвращалась я домой из школы.
Эти липы, верно, не забыли
Нашей встречи, мальчик мой веселый?
Только, ставши лебедем надменным,
Изменился серый лебеденок.
А на жизнь мою лучом нетленным
Грусть легла, и голос мой незвонок.

Октябрь 1912, Царское Село

*** * ***

Загорелись иглы венчика
Вкруг безоблачного лба.
Ах! улыбчивого птенчика
Подарила мне судьба.

Зима 1912

*** * ***

Протертый коврик под иконой,
В прохладной комнате темно,
И густо плющ темно-зеленый
Завил широкое окно.

От роз струится запах сладкий,
Трещит лампадка, чуть горя.
Пестро расписаны укладки
Рукой любовной кустаря.

И у окна белеют пяльцы…
Твой профиль тонок и жесток.
Ты зацелованные пальцы
Брезгливо прячешь под платок.

А сердцу стало страшно биться,
Такая в нем теперь тоска…
И в косах спутанных таится
Чуть слышный запах табака.

14 ноября 1912

*** * ***

Дал Ты мне молодость трудную.
Столько печали в пути.
Как же мне душу скудную
Богатой Тебе принести?
Долгую песню, льстивая,
О славе поет судьба.
Господи! я нерадивая,
Твоя скупая раба.
Ни розою, ни былинкою
Не буду в садах Отца.
Я дрожу над каждой соринкою,
Над каждым словом глупца.

19 декабря 1912, Вечер

*** * ***

М. Лозинскому

Он длится без конца – янтарный, тяжкий день!
Как невозможна грусть, как тщетно ожиданье!
И снова голосом серебряным олень
В зверинце говорит о северном сиянье.
И я поверила, что есть прохладный снег
И синяя купель для тех, кто нищ и болен,
И санок маленьких такой неверный бег
Под звоны древние далеких колоколен.

1912

*** * ***

Ты письмо мое, милый, не комкай,
До конца его, друг, прочти.
Надоело мне быть незнакомкой,
Быть чужой на твоем пути.

Не гляди так, не хмурься гневно.
Я любимая, я твоя.
Не пастушка, не королевна
И уже не монашенка я —

В этом сером, будничном платье,
На стоптанных каблуках…
Но, как прежде, жгуче объятье,
Тот же страх в огромных глазах.

Ты письмо мое, милый, не комкай,
Не плачь о заветной лжи,
Ты его в твоей бедной котомке
На самое дно положи.

1912, Царское Село

*** * ***

Потускнел на небе синий лак,
И слышнее песня окарины.
Это только дудочка из глины,
Не на что ей жаловаться так.
Кто ей рассказал мои грехи,
И зачем она меня прощает?…
Или этот голос повторяет
Мне твои последние стихи?

1912

*** * ***

Все мы бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам!
На стенах цветы и птицы
Томятся по облакам.

Ты куришь черную трубку,
Так странен дымок над ней.
Я надела узкую юбку,
Чтоб казаться еще стройней.

Навсегда забиты окошки:
Что там, изморозь или гроза?
На глаза осторожной кошки

Похожи твои глаза.

О, как сердце мое тоскует!
Не смертного ль часа жду?
А та, что сейчас танцует,
Непременно будет в аду.

19 декабря 1912, В вагоне

*** * ***

Столько просьб у любимой всегда!
У разлюбленной просьб не бывает.
Как я рада, что нынче вода
Под бесцветным ледком замирает.

И я стану – Христос помоги!
На покров этот, светлый и ломкий.
А ты письма мои береги,
Чтобы нас рассудили потомки,

Чтоб отчетливей и ясней
Ты был виден им, мудрый и смелый.
В биографии славной твоей
Разве можно оставить пробелы?

Слишком сладко земное питье,
Слишком плотны любовные сети.
Пусть когда-нибудь имя мое
Прочитают в учебнике дети,

И, печальную повесть узнав,
Пусть они улыбнутся лукаво…
Мне любви и покоя не дав,
Подари меня горькою славой.

1912 (?)

СМЯТЕНИЕ
1

Было душно от жгучего света,
А взгляды его – как лучи.
Я только вздрогнула: этот
Может меня приручить.
Наклонился – он что-то скажет…
От лица отхлынула кровь.
Пусть камнем надгробным ляжет
На жизни моей любовь.

1913

2

Не любишь, не хочешь смотреть?
О, как ты красив, проклятый!
И я не могу взлететь,
А с детства была крылатой.
Мне очи застит туман,
Сливаются вещи и лица,
И только красный тюльпан,
Тюльпан у тебя в петлице.

1913

3

Как велит простая учтивость,
Подошел ко мне, улыбнулся,
Полуласково, полулениво
Поцелуем руки коснулся —
И загадочных, древних ликов
На меня поглядели очи…
Десять лет замираний и криков,
Все мои бессонные ночи
Я вложила в тихое слово
И сказала его – напрасно.
Отошел ты, и стало снова
На душе и пусто и ясно.

1913

* * *

Вижу выцветший флаг над таможней
И над городом желтую муть.
Вот уж сердце мое осторожней
Замирает, и больно вздохнуть.

Стать бы снова приморской девчонкой,
Туфли на босу ногу надеть,
И закладывать косы коронкой,
И взволнованным голосом петь.

Все глядеть бы на смуглые главы
Херсонесского храма с крыльца
И не знать, что от счастья и славы
Безнадежно дряхлеют сердца.

Осень 1913

ВЕЧЕРОМ

Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.

Он мне сказал: «Я верный друг!»
И моего коснулся платья.
Как не похожи на объятья
Прикосновенья этих рук.

Так гладят кошек или птиц,
Так на наездниц смотрят стройных…
Лишь смех в глазах его спокойных
Под легким золотом ресниц.

А скорбных скрипок голоса
Поют за стелющимся дымом:
«Благослови же небеса —
Ты первый раз одна с любимым».

Март 1913

ПРОГУЛКА

Перо задело о верх экипажа.
Я поглядела в глаза его.
Томилось сердце, не зная даже
Причины горя своего.

Безветрен вечер и грустью скован
Под сводом облачных небес,
И словно тушью нарисован
В альбоме старом Булонский лес.

Бензина запах и сирени,
Насторожившийся покой…
Он снова тронул мои колени
Почти не дрогнувшей рукой.

Май 1913

*** * ***

Покорно мне воображенье
В изображеньи серых глаз.
В моем тверском уединеньи
Я горько вспоминаю Вас.

Прекрасных рук счастливый пленник
На левом берегу Невы,
Мой знаменитый современник,
Случилось, как хотели Вы,

Вы, приказавший мне: довольно,
Поди, убей свою любовь!
И вот я таю, я безвольна,
Но все сильней скучает кровь.

И если я умру, то кто же
Мои стихи напишет Вам,
Кто стать звенящими поможет
Еще не сказанным словам?

Июль 1913, Слепнево

*** * ***

Здравствуй! Легкий шелест слышишь
Справа от стола?
Этих строчек не допишешь —
Я к тебе пришла.

Неужели ты обидишь
Так, как в прошлый раз, Говоришь,
что рук не видишь,
Рук моих и глаз.
У тебя светло и просто.
Не гони меня туда,
Где под душным сводом моста
Стынет грязная вода.

Октябрь 1913, Царское Село

*** * ***

Знаю, знаю – снова лыжи
Сухо заскрипят.
В синем небе месяц рыжий,
Луг так сладостно покат.

Во дворце горят окошки,
Тишиной удалены.
Ни тропинки, ни дорожки,
Только проруби темны.

Ива, дерево русалок,
Не мешай мне на пути!
В снежных ветках черных галок,
Черных галок приюти.

Октябрь 1913, Царское Село

8 НОЯБРЯ 1913 ГОДА

Солнце комнату наполнило
Пылью желтой и сквозной.
Я проснулась и припомнила:
Милый, нынче праздник твой.

Оттого и оснеженная
Даль за окнами тепла,
Оттого и я, бессонная,
Как причастница спала.

* * *

Со дня Купальницы-Аграфены
Малиновый платок хранит.
Молчит, а ликует, как царь Давид,
В морозной келье белы стены,
И с ним никто не говорит.

Приду и стану на порог,
Скажу: «Отдай мне мой платок!»

Осень 1913, Царское Село

* * *

У меня есть улыбка одна:
Так, движенье чуть видное губ,
Для тебя я ее берегу
Ведь она мне любовью дана.
Все равно, что ты наглый и злой,
Все равно, что ты любишь других.
Предо мной золотой аналой,
И со мной сероглазый жених.

1913

* * *

Высокие своды костела
Синей, чем небесная твердь…
Прости меня, мальчик веселый,
Что я принесла тебе смерть. —

За розы с площадки круглой,

За глупые письма твои,
За то, что, дерзкий и смуглый,
Мутно бледнел от любви.

Я думала: ты нарочно
Как взрослые хочешь быть.
Я думала: томно-порочных
Нельзя, как невест, любить.

Но всё оказалось напрасно.
Когда пришли холода,
Следил ты уже бесстрастно
За мной везде и всегда,

Как будто копил приметы
Моей нелюбви. Прости!
Зачем ты принял обеты
Страдальческого пути?

И смерть к тебе руки простерла…
Скажи, что было потом?
Я не знала, как хрупко горло
Под синим воротником.

Прости меня, мальчик веселый,
Совёнок замученный мой!
Сегодня мне из костела
Так трудно уйти домой.

Ноябрь 1913, Царское Село

*** * ***

Не будем пить из одного стакана
Ни воду мы, ни сладкое вино,
Не поцелуемся мы утром рано,
А ввечеру не поглядим в окно.
Ты дышишь солнцем, я дышу луною,
Но живы мы любовию одною

Со мной всегда мой верный, нежный друг,
С тобой твоя веселая подруга.
Но мне понятен серых глаз испуг,
И ты виновник моего недуга.
Коротких мы не учащаем встреч.
Так наш покой нам суждено беречь.

Лишь голос твой поет в моих стихах,
В твоих стихах мое дыханье веет.
О, есть костер, которого не смеет
Коснуться ни забвение, ни страх.

И если б знал ты, как сейчас мне любы
Твои сухие, розовые губы!

Осень 1913

*** * ***

Ты знаешь, я томлюсь в неволе,
О смерти Господа моля.
Но все мне памятна до боли
Тверская скудная земля.

Журавль у ветхого колодца,
Над ним, как кипень, облака,
В полях скрипучие воротца,
И запах хлеба, и тоска.

И те неяркие просторы,
Где даже голос ветра слаб,
И осуждающие взоры
Спокойных загорелых баб.

Осень 1913, Слепнево

*** * ***

В. С. Срезневской

Вместо мудрости – опытность, пресное,
Неутоляющее питье.
А юност ьбыла – как молитва воскресная…
Мне ли забыть ее?

Столько дорог пустынных исхожено
С тем, кто мне не был мил,
Столько поклонов в церквах положено
За того, кто меня любил…

Стала забывчивей всех забывчивых,
Тихо плывут года.
Губ нецелованных, глаз неулыбчивых
Мне не вернуть никогда.

Осень 1913, Царское Село

9 ДЕКАБРЯ 1913 ГОДА

Самые темные дни в году
Светлыми стать должны.
Я для сравнения слов не найду —

Так твои губы нежны.

Только глаза подымать не смей,
Жизнь мою храня.
Первых фиалок они светлей,
А смертельные для меня.

Вот поняла, что не надо слов,
Оснеженные ветки легки…
Сети уже разостлал птицелов
На берегу реки.

Царское Село

*** * ***

Настоящую нежность не спутаешь
Ни с чем, и она тиха.
Ты напрасно бережно кутаешь
Мне плечи и грудь в меха.
И напрасно слова покорные
Говоришь о первой любви.
Как я знаю эти упорные
Несытые взгляды твои!

Декабрь 1913, Царское Село

*** * ***

Я с тобой не стану пить вино,
Оттого что ты мальчишка озорной,
Знаю я – у вас заведено
С кем попало целоваться под луной.

А у нас – ишь да гладь,
Божья благодать.

А у нас – светлых глаз
Нет приказу подымать.

Декабрь 1914

*** * ***

Твой белый дом и тихий сад оставлю.
Да будет жизнь пустынна и светла.
Тебя, тебя в моих стихах прославлю,
Как женщина прославить не могла.
И ты подругу помнишь дорогую
В тобою созданном для глаз ее раю,

А я товаром редкостным торгую
Твою любовь и нежность продаю.

Зима 1913, Царское Село

*** * ***

О, это был прохладный день
В чудесном городе Петровом!
Лежал закат костром багровым,
И медленно густела тень.

Пусть он не хочет глаз моих,
Пророческих и неизменных.
Всю жизнь ловить он будет стих,
Молитву губ моих надменных.

Зима 1913, Царское Село

*** * ***

Проводила друга до передней.
Постояла в золотой пыли.
С колоколенки соседней
Звуки важные текли.

Брошена! Придуманное слово
Разве я цветок или письмо?
А глаза глядят уже сурово
В потемневшее трюмо.

1913

*** * ***

Цветов и неживых вещей
Приятен запах в этом доме.
У грядок груды овощей
Лежат, пестры, на черноземе.

Еще струится холодок,
Но с парников снята рогожа.
Там есть прудок, такой прудок,
Где тина на парчу похожа.

А мальчик мне сказал, боясь,
Совсем взволнованно и тихо,
Что там живет большой карась
И с ним большая карасиха.

1913

* * *

Каждый день по-новому тревожен.
Все сильнее запах спелой ржи.
Если ты к ногам моим положен,
Ласковый, лежи.

Иволги кричат в широких кленах,
Их ничем до ночи не унять.
Любо мне от глаз твоих зеленых
Ос веселых отгонять.

На дороге бубенец зазвякал
Памятен нам этот легкий звук.
Я спою тебе, чтоб ты не плакал,
Песенку о вечере разлук.

1913

СТИХИ О ПЕТЕРБУРГЕ

1

Вновь Исакий в облаченьи
Из литого серебра.
Стынет в грозном нетерпеньи
Конь Великого Петра.

Ветер душный и суровый
С черных труб сметает гарь…
Ах! своей столицей новой
Недоволен государь.

2

Сердце бьется ровно, мерно,
Что мне долгие года!
Ведь под аркой на Галерной
Наши тени навсегда.

Сквозь опущенные веки
Вижу, вижу, ты со мной,
И в руке твоей навеки
Нераскрытый веер мой.

Оттого, что стали рядом
Мы в блаженный миг чудес,
В миг, когда над Летним садом
Месяц розовый воскрес, —

Мне не надо ожиданий
У постылого окна
И томительных свиданий.
Вся любовь утолена.

Ты свободен, я свободна,
Завтра лучше, чем вчера, —
Над Невою темноводной,
Под улыбкою холодной
Императора Петра.

1913

*** * ***

О тебе вспоминаю я редко
И твоей не пленяюсь судьбой,
Но с души не стирается метка
Незначительной встречи с тобой.

Красный дом твой нарочно миную,
Красный дом твой над мутной рекой,
Но я знаю, что горько волную
Твой пронизанный солнцем покой.

Пусть не ты над моими устами
Наклонялся, моля о любви,
Пусть не ты золотыми стихами
Обессмертил томленья мои-

Я над будущим тайно колдую,
Если вечер совсем голубой,
И предчувствую встречу вторую,
Неизбежную встречу с тобой.

1913

*** * ***

На шее мелких четок ряд,
В широкой муфте руки прячу,
Глаза рассеянно глядят
И больше никогда не плачут.

И кажется лицо бледней
От лиловеющего шелка,
Почти доходит до бровей
Моя незавитая челка.

И непохожа на полет

Походка медленная эта,
Как будто под ногами плот,
А не квадратики паркета.

А бледный рот слегка разжат,
Неровно трудное дыханье,
И на груди моей дрожат
Цветы небывшего свиданья.

1913

ГОСТЬ

Все как раньше: в окна столовой
Бьется мелкий метельный снег,
И сама я не стала новой,
А ко мне приходил человек.

Я опросила: «Чего ты хочешь?»
Он сказал: «Быть с тобой в аду».
Я смеялась: «Ах, напророчишь
Нам обоим, пожалуй, беду».

Но, поднявши руку сухую,
Он слегка потрогал цветы:
«Расскажи, как тебя целуют,
Расскажи, как целуешь ты».

И глаза, глядевшие тускло,
Не сводил с моего кольца.
Ни один не двинулся мускул
Просветленно-злого лица.

О, я знаю: его отрада —
Напряженно и страстно знать,
Что ему ничего не надо,
Что мне не в чем ему отказать.

1 января 1914

*** * ***

Александру Блоку

Я пришла к поэту в гости.
Ровно полдень. Воскресенье.
Тихо в комнате просторной,
А за окнами мороз

И малиновое солнце
Над лохматым сизым дымом…

Как хозяин молчаливый
Ясно смотрит на меня!

У него глаза такие,
Что запомнить каждый должен;
Мне же лучше, осторожной,
В них и вовсе не глядеть.

Но запомнится беседа,
Дымный полдень, воскресенье
В доме сером и высоком
У морских ворот Невы.

Январь 1914

*** * ***

Углем наметил на левом боку
Место, куда стрелять,
Чтоб выпустить птицу – мою тоску
В пустынную ночь опять.

Милый! не дрогнет твоя рука.
И мне недолго терпеть.
Вылетит птица – моя тоска,
Сядет на ветку и станет петь.

Чтоб тот, кто спокоен в своем дому,
Раскрывши окно, сказал:
«Голос знакомый, а слов не пойму»
И опустил глаза.

31 января 1914, Петербург

*** * ***

После ветра и мороза было
Любо мне погреться у огня.
Там за сердцем я не уследила,
И его украли у меня.

Новогодний праздник длится пышно,
Влажны стебли новогодних роз,
А в груди моей уже не слышно
Трепетания стрекоз.

Ах! не трудно угадать мне вора,
Я его узнала по глазам.
Только страшно так, что скоро, скоро
Он вернет свою добычу сам.

Январь 1914

* * *

В последний раз мы встретились тогда
На набережной, где всегда встречались.
Была в Неве высокая вода,
И наводненья в городе боялись.

Он говорил о лете и о том,
Что быть поэтом женщине – нелепость.
Как я запомнила высокий царский дом
И Петропавловскую крепость! —

Затем что воздух был совсем не наш,
А как подарок Божий – так чудесен.
И в этот час была мне отдана
Последняя из всех безумных песен.

Январь 1914

* * *

Как ты можешь смотреть на Неву,
Как ты смеешь всходить на мосты?…
Я недаром печальной слыву
С той поры, как привиделся ты.
Черных ангелов крылья остры,
Скоро будет последний суд,
И малиновые костры,
Словно розы, в снегу цветут.

1914, Петербург

* * *

Чернеет дорога приморского сада,
Желты и свежи фонари.
Я очень спокойная. Только не надо
Со мною о нем говорить.
Ты милый и верный, мы будем друзьями…
Гулять, целоваться, стареть…
И легкие месяцы будут над нами,
Как снежные звезды, лететь.

Март 1914, Петербург

* * *

Мне не надо счастья малого,

Мужа к милой провожу
И довольного, усталого
Спать ребенка уложу.

Снова мне в прохладной горнице
Богородицу молить…
Трудно, трудно жить затворницей,
Да трудней веселой быть.

Только б сон приснился пламенный,
Как войду в нагорный храм,
Пятиглавый, белый, каменный
По запомненным тропам.

Май 1914, Петербург

*** * ***

Не в лесу мы, довольно аукать,
Я насмешек таких не люблю…
Что же ты не приходишь баюкать
Уязвленную совесть мою?

У тебя заботы другие,
У тебя другая жена…
И глядит мне в глаза сухие
Петербургская весна.

Трудным кашлем, вечерним жаром
Наградит по заслугам, убьет.
На Неве под млеющим паром
Начинается ледоход.

Весна 1914, Петербург

ПОБЕГ

О. А. Кузьминой-Караваевой

«Нам бы только до взморья добраться,
Дорогая моя!» – «Молчи…»
И по лестнице стали спускаться,
Задыхаясь, искали ключи.

Мимо зданий, где мы когда-то
Танцевали, пили вино,
Мимо белых колонн Сената,
Туда, где темно, темно.

«Что ты делаешь, ты безумный!» —
«Нет, я только тебя люблю!

Этот ветер – широкий и шумный,
Будет весело кораблю!»

Горло тесно ужасом сжато,
Нас в потемках принял челнок…
Крепкий запах морского каната
Задрожавшие ноздри обжег.

«Скажи, ты знаешь наверно:
Я не сплю? Так бывает во сне…»
Только весла плескались мерно
По тяжелой невской волне.

А черное небо светало,
Нас окликнул кто-то с моста,
Я руками обеими сжала
На груди цепочку креста.

Обессиленную, на руках ты,
Словно девочку, внес меня,
Чтоб на палубе белой яхты
Встретить свет нетленного дня.

Июнь 1914, Слепнево

*** * ***

Лучше б мне частушки задорно выкликать,
А тебе на хриплой гармонике играть!

И уйдя, обнявшись, на ночь за овсы,
Потерять бы ленту из тугой косы.

Лучше б мне ребеночка твоего качать,
А тебе полтинник в сутки выручать,

И ходить на кладбище в поминальный день
Да смотреть на белую Божию сирень.

Июль 1914, Дарница

*** * ***

Древний город словно вымер,
Странен мой приезд.
Над рекой своей Владимир
Поднял черный крест.

Липы шумные и вязы
По садам темны,
Звезд иглистые алмазы

К Богу взнесены.

Путь мой жертвенный и славный
Здесь окончу я,
И со мной лишь ты, мне равный,
Да любовь моя.

Июль 1914, Слепнево

*** * ***

Целый год ты со мной неразлучен,
А как прежде и весел и юн!
Неужели же ты не измучен
Смутной песней затравленных струн,
Тех, что прежде, тугие, звенели,
А теперь только стонут слегка,
И моя их терзает без цели
Восковая, сухая рука…
Верно, мало для счастия надо
Тем, кто нежен и любит светло,
Что ни ревность, ни гнев, ни досада
Молодое не тронут чело.
Тихий, тихий, и ласки не просит,
Только долго глядит на меня.
И с улыбкой блаженной выносит
Страшный бред моего забытья.

Июнь 1914, Слепнево

ИЮЛЬ 1914

I

Пахнет гарью. Четыре недели
Торф сухой по болотам горит.
Даже птицы сегодня не пели
И осина уже не дрожит.

Стало солнце немилостью Божьей,
Дождик с Пасхи полей не кропил.
Приходил одноногий прохожий
И один на дворе говорил:

«Сроки страшные близятся. Скоро
Станет тесно от свежих могил.
Ждите глада, и труса, и мора,
И затменья небесных светил.

Только нашей земли не разделит
На потеху себе супостат:

Богородица белый расстелет
Над скорбями великими плат».

II

Можжевельника запах сладкий
От горящих лесов летит.
Над ребятами стонут солдатки,
Вдовий плач по деревне звенит.

Не напрасно молебны служились,
О дожде тосковала земля:
Красной влагой тепло окропились
Затоптанные поля.

Низко, низко небо пустое,
И голос молящего тих:
«Ранят тело твое пресвятое,
Мечут жребий о ризах твоих».

20 июля 1914, Слепнево

БЕЛЫЙ ДОМ

Морозное солнце. С парада
Идут и идут войска.
Я полдню январскому рада,
И тревога моя легка.

Здесь помню каждую ветку
И каждый силуэт.
Сквозь инея белую сетку
Малиновый каплет свет.

Здесь дом был почти что белый,
Стеклянное крыльцо.
Столько раз рукой помертвелой
Я держала звонок-кольцо.

Столько раз… Играйте, солдаты,
А я мой дом отыщу,
Узнаю по крыше покатой,
По вечному плющу.

Но кто его отодвинул,
В чужие унес города
Или из памяти вынул
Навсегда дорогу туда…

Волынки вдали замирают,
Снег летит, как вишневый цвет…
И, видно, никто не знает,
Что белого дома нет.

Июль 1914, Слепнево

*** * ***

Бесшумно ходили по дому,
Не ждали уже ничего.
Меня привели к больному,
И я не узнала его.

Он сказал: «Теперь слава Богу,
И еще задумчивей стал,
Давно мне пора в дорогу,
Я только тебя поджидал.

Так меня ты в бреду тревожишь,
Все слова твои берегу.
Скажи: ты простить не можешь?»
И я сказала: «Могу».

Казалось, стены сияли
От пола до потолка.
На шелковом одеяле
Сухая лежала рука.

А закинутый профиль хищный
Стал так страшно тяжел и груб,
И было дыханья не слышно
У искусанных темных губ.

Но вдруг последняя сила
В синих глазах ожила:
«Хорошо, что ты отпустила,
Не всегда ты доброй была».

И стало лицо моложе,
Я опять узнала его
И сказала: «Господи Боже,
Прими раба Твоего».

Июль 1914, Слепнево

*** * ***

Был блаженной моей колыбелью
Темный город у грозной реки
И торжественной брачной постелью,

Над которой держали венки
Молодые твои серафимы,
Город, горькой любовью любимый.

Солеёю молений моих
Был ты, строгий, спокойный, туманный.
Там впервые предстал мне жених,
Указавши мой путь осиянный,
И печальная Муза моя,
Как слепую, водила меня.

Июль 1914, Слепнево

*** * ***

Пустых небес прозрачное стекло,
Большой тюрьмы белесое строенье
И хода крестного торжественное пенье
Над Волховом, синеющим светло.

Сентябрьский вихрь, листы с березы свеяв,
Кричит и мечется среди ветвей,
А город помнит о судьбе своей:
Здесь Марфа правила и правил Аракчеев.

Осень 1914, Царское Село

УТЕШЕНИЕ

Там Михаил Архистратиг
Его зачислил в рать свою.

Н. Гумилев

Вестей от него не получишь больше,
Не услышишь ты про него.
В объятой пожарами, скорбной Польше
Не найдешь могилы его.

Пусть дух твой станет тих и покоен,
Уже не будет потерь:
Он Божьего воинства новый воин,
О нем не грусти теперь.

И плакать грешно, и грешно томиться
В милом, родном дому.
Подумай, ты можешь теперь молиться
Заступнику своему.

Сентябрь 1914, Царское Село

* * *

Был он ревнивым, тревожным и нежным,
Как Божие солнце, меня любил,
А чтобы она не запела о прежнем,
Он белую птицу мою убил.

Промолвил, войдя на закате в светлицу:
«Люби меня, смейся, пиши стихи!»
И я закопала веселую птицу
За круглым колодцем у старой ольхи.

Ему обещала, что плакать не буду,
Но каменным сделалось сердце мое,
И кажется мне, что всегда и повсюду
Услышу я сладостный голос ее.

Осень 1914

* * *

Вечерний звон у стен монастыря,
Как некий благовест самой природы…
И бледный лик в померкнувшие воды
Склоняет сизокрылая заря.

Над дальним лугом белые челны
Нездешние сопровождают тени…
Час горьких дум, о, час разуверений
При свете возникающей луны!

[1914]

* * *

Под крышей промерзшей пустого жилья
Я мертвенных дней не считаю,
Читаю посланья Апостолов я,
Слова Псалмопевца читаю.
Но звезды синеют, но иней пушист,
И каждая встреча чудесней, —
А в Библии красный кленовый лист
Заложен на Песне Песней.

Январь 1915, Царское Село

* * *

Я улыбаться перестала,
Морозный ветер губы студит,

Одной надеждой меньше стало,
Одною песней больше будет.
И эту песню я невольно
Отдам на смех и поруганье,
Затем что нестерпимо больно
Душе любовное молчанье.

17 марта 1915, Царское Село

*** * ***

Из памяти твоей я выну этот день,
Чтоб спрашивал твой взор беспомощно-туманный:
Где видел я персидскую сирень,
И ласточек, и домик деревянный?

О, как ты часто будешь вспоминать
Внезапную тоску неназванных желаний
И в городах задумчивых искать
Ту улицу, которой нет на плане!

При виде каждого случайного письма,
При звуке голоса за приоткрытой дверью
Ты будешь думать: «Вот она сама
Пришла на помощь моему неверью».

4 апреля 1915, Петербург

*** * ***

Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так, что сделался каждый день
Поминальным днем, —
Начали песни слагать
О великой щедрости Божьей
Да о нашем бывшем богатстве.

12 апреля 1915, Троицкий мост

*** * ***

Н.В.Н.

Есть в близости людей заветная черта,
Ее не перейти влюбленности и страсти,
Пусть в жуткой тишине сливаются уста
И сердце рвется от любви на части.

И дружба здесь бессильна, и года

Высокого и огненного счастья,
Когда душа свободна и чужда
Медлительной истоме сладострастья.

Стремящиеся к ней безумны, а ее
Достигшие – поражены тоскою…
Теперь ты понял, отчего мое
Не бьется сердце под твоей рукою.

2 мая 1915, Петербург

*** * ***

Выбрала сама я долю
Другу сердца моего:
Отпустила я на волю
В Благовещенье его.
Да вернулся голубь сизый,
Бьется крыльями в стекло.
Как от блеска дивной ризы
Стало в горнице светло.

4 мая 1915, Петербург

МОЛИТВА

Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар —
Так молюсь за Твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей.

1915. Духов день, Петербург. Троицкий мост

*** * ***

Перед весной бывают дни такие:
Под плотным снегом отдыхает луг,
Шумят деревья весело-сухие,
И теплый ветер нежен и упруг.

И легкости своей дивится тело,
И дома своего не узнаешь,
А песню ту, что прежде надоела,
Как новую, с волнением поешь.

Лето 1915, Слепнево

* * *

Широк и желт вечерний свет,
Нежна апрельская прохлада.
Ты опоздал на много лет,
Но все-таки тебе я рада.

Сюда ко мне поближе сядь,
Гляди веселыми глазами:
Вот эта синяя тетрадь
С моими детскими стихами.

Прости, что я жила скорбя
И солнцу радовалась мало.
Прости, прости, что за тебя
Я слишком многих принимала.

Июль 1915, Слепнево

* * *

Будем вместе, милый, вместе,
Знают все, что мы родные,
А лукавые насмешки,
Как бубенчик отдаленный,
И обидеть нас не могут,
И не могут огорчить.

Где венчались мы – не помним,
Но сверкала эта церковь
Тем неистовым сияньем,
Что лишь ангелы умеют
В белых крыльях приносить.

А теперь пора такая,
Страшный год и страшный город.
Как же можно разлучиться
Мне с тобой, тебе со мной?

1915

* * *

Нам свежесть слов и чувства простоту
Терять не то ль, что живописцу – зренье,
Или актеру – голос и движенье,
А женщине прекрасной – красоту?

Но не пытайся для себя хранить
Тебе дарованное небесами:

Осуждены – и это знаем сами
Мы расточать, а не копить.

Иди один и исцеляй слепых,
Чтобы узнать в тяжелый час сомненья
Учеников злорадное глумленье
И равнодушие толпы.

23 июня 1915, Слепнево

*** * ***

Ведь где-то есть простая жизнь и свет,
Прозрачный, теплый и веселый…
Там с девушкой через забор сосед
Под вечер говорит, и слышат только пчелы
Нежнейшую из всех бесед.

А мы живем торжественно и трудно
И чтим обряды наших горьких встреч,
Когда с налету ветер безрассудный
Чуть начатую обрывает речь.

Но ни на что не променяем пышный
Гранитный город славы и беды,
Широких рек сияющие льды,
Бессолнечные, мрачные сады
И голос Музы еле слышный.

23 июня 1915, Слепнево

*** * ***

Нет, царевич, я не та,
Кем меня ты видеть хочешь,
И давно мои уста
Не целуют, а пророчат.

Не подумай, что в бреду
И замучена тоскою
Громко кличу я беду:
Ремесло мое такое.

А умею научить,
Чтоб нежданное случилось,
Как навеки приручить
Ту, что мельком полюбилась.

Славы хочешь? – у меня
Попроси тогда совета,
Только это-западня,

Где ни радости, ни света.

Ну, теперь иди домой
Да забудь про нашу встречу,
А за грех твой, милый мой,
Я пред Господом отвечу.

7 июля 1915, Слепнево

*** * ***

Столько раз я проклинала
Это небо, эту землю,
Этой мельницы замшелой
Тяжко машущие руки!
А во флигеле покойник,
Прям и сед, лежит на лавке,
Как тому назад три года.
Так же мыши книги точат,
Так же влево пламя клонит
Стеариновая свечка.
И поет, поет постылый
Бубенец нижегородский
Незатейливую песню
О моем веселье горьком.
А раскрашенные ярко
Прямо стали георгины
Вдоль серебряной дорожки,
Где улитки и полынь.
Так случилось: заточенье
Стало родиной второю,
А о первой я не смею
И в молитве вспоминать.

Июль 1915, Слепнево

*** * ***

Я не знаю, ты жив или умер,
На земле тебя можно искать
Или только в вечерней думе
По усопшем светло горевать.

Все тебе: и молитва дневная,
И бессонницы млеющий жар,
И стихов моих белая стая,
И очей моих синий пожар.

Мне никто сокровенней не был,
Так меня никто не томил,
Даже тот, кто на муку предал,

Даже тот, кто ласкал и забыл.

Июль 1915, Слепнево

*** * ***

Господь немилостив к жнецам и садоводам.
Звеня, косые падают дожди
И, прежде небо отражавшим, водам
Пестрят широкие плащи.

В подводном царстве и луга, и нивы,
А струи вольные поют, поют,
На взбухших ветках лопаются сливы,
И травы легшие гниют.

И сквозь густую водяную сетку
Я вижу милое твое лицо,
Притихший парк, китайскую беседку
И дома круглое крыльцо.

Осень 1915, Царское Село

*** * ***

Всё мне видится Павловск холмистый,
Круглый луг, неживая вода,
Самый томный и самый тенистый,
Ведь его не забыть никогда.

Как в ворота чугунные въедешь,
Тронет тело блаженная дрожь,
Не живешь, а ликуешь и бредишь
Иль совсем по-иному живешь.

Поздней осенью свежий и колкий
Бродит ветер, безлюдию рад.
В белом инее черные елки
На подтаявшем снеге стоят.

И, исполненный жгучего бреда,
Милый голос как песня звучит,
И на медном плече Кифареда
Красногрудая птичка сидит.

Осень 1915, Царское Село

*** * ***

Муза ушла по дороге

Осенней, узкой, крутой,
И были смуглые ноги
Обрызганы крупной росой.

Я долго ее просила
Зимы со мной подождать,
Но сказала: «Ведь здесь могила,
Как ты можешь еще дышать?»

Я голубку ей дать хотела,
Ту, что всех в голубятне белей,
Но птица сама полетела
За стройной гостьей моей.

Я, глядя ей вслед, молчала,
Я любила ее одну,
А в небе заря стояла,
Как ворота в ее страну.

15 декабря 1915, Царское Село

*** * ***

Тот август, как желтое пламя,
Пробившееся сквозь дым,
Тот август поднялся над нами,
Как огненный серафим.

И в город печали и гнева
Из тихой Корельской земли
Мы двое – воин и дева
Студеным утром вошли.

Что сталось с нашей столицей,
Кто солнце на землю низвел?
Казался летящей птицей
На штандарте черный орел.

На дикий лагерь похожий
Стал город пышных смотров,
Слепило глаза прохожим
Сверканье пик и штыков.

И серые пушки гремели
На Троицком гулком мосту,
А липы еще зеленели
В таинственном Летнем саду.

И брат мне сказал: «Настали
Для меня великие дни.
Теперь ты наши печали

И радость одна храни».

Как будто ключи оставил
Хозяйке усадьбы своей,
А ветер восточный славил
Ковыли приволжских степей.

1915

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Далеко в лесу огромном,
Возле синих рек,
Жил с детьми в избушке темной
Бедный дровосек.

Младший сын был ростом с пальчик, —
Как тебя унять,
Спи, мой тихий, спи, мой мальчик,
Я дурная мать.

Долетают редко вести
К нашему крыльцу,
Подарили белый крестик
Твоему отцу.

Было горе, будет горе,
Горю нет конца,
Да хранит святой Егорий
Твоего отца.

1915, Царское Село

*** * ***

Ты мне не обещан ни жизнью, ни Богом,
Ни даже предчувствием тайным моим.
Зачем же в ночи перед темным порогом
Ты медлишь, как будто счастьем томим?
Не выйду, не крикну: «О, будь единым,
До смертного часа будь со мной!»
Я только голосом лебединым
Говорю с неправедною луной.

1915

*** * ***

Словно ангел, возмутивший воду,
Ты взглянул тогда в мое лицо,

Возвратил и силу и свободу,
А на память чуда взял кольцо.
Мой румянец жаркий и недужный
Стерла богомольная печаль.
Памятным мне будет месяц вьюжный,
Северный встревоженный февраль.

Февраль 1916, Царское Село

*** * ***

Я знаю, ты моя награда
За годы боли и труда,
За то, что я земным отрадам
Не предавалась никогда,

За то, что я не говорила
Возлюбленному: «Ты любим»,
За то, что всем я все простила,
Ты будешь Ангелом моим.

28 апреля 1916, Царское Село

*** * ***

Эта встреча никем не воспета,
И без песен печаль улеглась.
Наступило прохладное лето,
Словно новая жизнь началась.

Сводом каменным кажется небо,
Уязвленное желтым огнем,
И нужнее насущного хлеба
Мне единое слово о нем.

Ты, росой окропляющий травы,
Вестью душу мою оживи,
Не для страсти, не для забавы,
Для великой земной любви.

17 мая 1916, Слепнево

*** * ***

Небо мелкий дождик сеет
На зацветшую сирень.
За окном крылами веет
Белый, белый Духов день.

Нынче другу возвратиться

Из-за моря – крайний срок.
Все мне дальний берег снится,
Камни, башни и песок.

На одну из этих башен
Я взойду, встречая свет…
Да в стране болот и пашен
И в помине башен нет.

Только сяду на пороге,
Там еще густая тень.
Помоги моей тревоге,
Белый, белый Духов день!

Весна 1916, Слепнево

*** * ***

Как люблю, как любила глядеть я
На закованные берега,
На балконы, куда столетья
Не ступала ничья нога.
И воистину ты – столица
Для безумных и светлых нас;
Но когда над Невою длится
Тот особенный, чистый час
И проносится ветер майский
Мимо всех надводных колонн,
Ты – как грешник, видящий райский
Перед смертью сладчайший сон…

1916

*** * ***

Б. А.

Как белый камень в глубине колодца,
Лежит во мне одно воспоминанье.
Я не могу и не хочу бороться:
Оно-веселье и оно-страданье.

Мне кажется, что тот, кто близко взглянет
В мои глаза, его увидит сразу.
Печальней и задумчивее станет
Внимающего скорбному рассказу.

Я ведаю, что боги превращали
Людей в предметы, не убив сознанья,
Чтоб вечно жили дивные печали.
Ты превращен в мое воспоминанье.

5 июля 1916, Слепнево

* * *

А! Это снова ты. Не отроком влюбленным,
Но мужем дерзостным, суровым, непреклонным
Ты в этот дом вошел и на меня глядишь.
Страшна моей душе предгрозовая тишь.
Ты спрашиваешь, что я сделала с тобою,
Врученным мне навек любовью и судьбою.
Я предала тебя. И это повторять
О, если бы ты мог когда-нибудь устать!
Так мертвый говорит, убийцы сон тревожа,
Так Ангел смерти ждет у рокового ложа.
Прости меня теперь. Учил прощать Господь.
В недуге горестном моя томится плоть,
А вольный дух уже почиет безмятежно.
Я помню только сад, сквозной, осенний, нежный,
И крики журавлей, и черные поля…
О, как была с тобой мне сладостна земля!

11 июля 1916, Слепнево

ПАМЯТИ 19 ИЮЛЯ 1914

Мы на сто лет состарились, и это
Тогда случилось в час один:
Короткое уже кончалось лето,
Дымилось тело вспаханных равнин.

Вдруг запестрела тихая дорога,
Плач полетел, серебряно звеня…
Закрыв лицо, я умоляла Бога
До первой битвы умертвить меня.

Из памяти, как груз отныне лишний,
Исчезли тени песен и страстей.
Ей – опустевшей – приказал Всевышний
Стать страшной книгой грозовых вестей.

18 июля 1916, Слепнево

* * *

Когда в мрачнейшей из столиц
Рукою твердой, но усталой,
На чистой белизне страниц
Я отречение писала,

И ветер в круглое окно
Вливался влажною струею,
Казалось, небо сожжено
Червонно-дымною зарею.

Я не взглянула на Неву,
На озаренные граниты,
И мне казалось – наяву
Тебя увижу, незабытый…

Но неожиданная ночь
Покрыла город предосенний.
Чтоб бегству моему помочь,
Расплылись пепельные тени.

Я только крест с собой взяла,
Тобою данный в день измены, —
Чтоб степь полынная цвела,
А ветры пели, как сирены.

И вот, он на пустой стене
Хранит меня от горьких бредней,
И ничего не страшно мне
Припомнить, – даже день последний.

Август 1916, Песочная бухта

*** * ***

Почернел, искривился бревенчатый мост,
И стоят лопухи в человеческий рост,
И крапивы дремучей поют леса,
Что по ним не пройдет, не блеснет коса.
Вечерами над озером слышен вздох,
И по стенам расползся корявый мох.

Я встречала там
Двадцать первый год.
Сладок был устам
Черный душный мед.

Сучья рвали мне
Платья белый шелк,
На кривой сосне
Соловей не молк.

На условный крик
Выйдет из норы,
Словно леший дик,
А нежней сестры.

На гору бегом,
Через речку вплавь,
Да зато потом
Не скажу: оставь.

1917

*** * ***

Всё отнято: и сила, и любовь.
В немилый город брошенное тело
Не радо солнцу. Чувствую, что кровь
Во мне уже совсем похолодела.

Веселой Музы нрав не узнаю:
Она глядит и слова не проронит,
А голову в веночке темном клонит,
Изнеможенная, на грудь мою.

И только совесть с каждым днем страшней
Беснуется: великой хочет дани.
Закрыв лицо, я отвечала ей…
Но больше нет ни слез, ни оправданий.

24 октября 1916, Севастополь

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ СТАТУЯ

Н. В. Н.

Уже кленовые листы
На пруд слетают лебединый,
И окровавлены кусты
Неспешно зреющей рябины,

И ослепительно стройна,
Поджав незябнущие ноги,
На камне северном она
Сидит и смотрит на дороги.

Я чувствовала смутный страх
Пред этой девушкой воспетой.
Играли на ее плечах
Лучи скудеющего света.

И как могла я ей простить
Восторг твоей хвалы влюбленной.
Смотри, ей весело грустить,
Такой нарядно обнаженной.

Октябрь 1916, Севастополь

* * *

Вновь подарен мне дремотой
Наш последний звездный рай
Город чистых водометов,
Золотой Бахчисарай.

Там за пестрою оградой,
У задумчивой воды,
Вспоминали мы с отрадой
Царскосельские сады

И орла Екатерины
Вдруг узнали – это тот!
Он слетел на дно долины
С пышных бронзовых ворот.

Чтобы песнь прощальной боли
Дольше в памяти жила,
Осень смуглая в подоле
Красных листьев принесла

И посыпала ступени,
Где прощалась я с тобой
И откуда в царство тени
Ты ушел, утешный мой.

Октябрь 1916, Севастополь

* * *

Всё обещало мне его:
Край неба, тусклый и червонный,
И милый сон под Рождество,
И Пасхи ветер многозвонный,

И прутья красные лозы,
И парковые водопады,
И две большие стрекозы
На ржавом чугуне ограды.

И я не верить не могла,
Что будет дружен он со мною,
Когда по горным склонам шла
Горячей каменной тропою.

Октябрь 1916, Севастополь

* * *

Приду туда, и отлетит томленье.
Мне ранние приятны холода.
Таинственные, темные селенья
Хранилища молитвы и труда.

Спокойной и уверенной любови
Не превозмочь мне к этой стороне:
Ведь капелька новогородской крови
Во мне – как льдинка в пенистом вине.

И этого никак нельзя поправить,
Не растопил ее великий зной,
И что бы я ни начинала славить
Ты, тихая, сияешь предо мной.

1 ноября 1916, Севастополь

*** * ***

Юнии Анреп

Судьба ли так моя переменилась,
Иль вправду кончена игра?
Где зимы те, когда я спать ложилась
В шестом часу утра?

По-новому, спокойно и сурово,
Живу на диком берегу.
Ни праздного, ни ласкового слова
Уже промолвить не могу.

Не верится, что скоро будут святки.
Степь трогательно зелена
Сияет солнце. Лижет берег гладкий
Как будто теплая волна.

Когда от счастья томной и усталой
Бывала я, то о такой тиши
С невыразимым трепетом мечтала
И вот таким себе я представляла
Посмертное блуждание души.

15 декабря 1916, Бельбек

*** * ***

По неделе ни слова ни с кем не скажу,
Все на камне у моря сижу,
И мне любо, что брызги зеленой волны,
Словно слезы мои, солоны.

Были весны и зимы, да что-то одна
Мне запомнилась только весна.
Стали ночи теплее, подтаивал снег,
Вышла я поглядеть на луну,
И спросил меня тихо чужой человек,
Между сосенок встретив одну:
«Ты не та ли, кого я повсюду ищу,
О которой с младенческих лет,
Как о милой сестре, веселюсь и грущу?»
Я чужому ответила: «Нет!»
А как свет поднебесный его озарил,
Я дала ему руки мои,
И он перстень таинственный мне подарил,
Чтоб меня уберечь от любви.
И назвал мне четыре приметы страны,
Где мы встретиться снова должны:
Море, круглая бухта, высокий маяк,
А всего непременней – полынь…
А как жизнь началась, пусть и кончится так.
Я сказала, что знаю: аминь!

1916, Севастополь

*** * ***

Город сгинул, последнего дома
Как живое взглянуло окно…
Это место совсем незнакомо,
Пахнет гарью, и в поле темно.

Но когда грозовую завесу
Нерешительный месяц рассек,
Мы увидели: на гору, к лесу
Пробирался хромой человек.

Было страшно, что он обгоняет
Тройку сытых, веселых коней,
Постоит и опять ковыляет
Под тяжелою ношей своей.

Мы заметить почти не успели,
Как он возле кибитки возник.
Словно звезды глаза голубели,
Освещая измученный лик.

Я к нему протянула ребенка,
Поднял руку со следом оков
И промолвил мне благостно-звонко:
«Будет сын твой и жив и здоров!»

1916, Слепнево

* * *

Ждала его напрасно много лет.
Похоже это время на дремоту.
Но воссиял неугасимый свет
Тому три года в Вербную субботу.
Мой голос оборвался и затих
С улыбкой предо мной стоял жених.

А за окном со свечками народ
Неспешно шел. О, вечер богомольный!
Слегка хрустел апрельский тонкий лед
И над толпою голос колокольный,
Как утешенье вещее, звучал,
И черный ветер огоньки качал.

И белые нарциссы на столе,
И красное вино в бокале плоском
Я видела как бы в рассветной мгле.
Моя рука, закапанная воском,
Дрожала, принимая поцелуй,
И пела кровь: блаженная, ликуй!

1916

* * *

В последний год, когда столица наша
Первоначальное носила имя
И до войны великой оставалось
Еще полгода, совершилось то,
О чем должна я кратко и правдиво
В повествовании моем сказать.
И в этом помешать мне может только
Та, что в дома всегда без спроса входит
И белым закрывает зеркала.
Иль тот, кто за море от нас уехал
И строго, строго плакать запретил.

‹1914—1915›

* * *

Высокомерьем дух твой помрачен,
И оттого ты не познаешь света.
Ты говоришь, что вера наша – сон
И марево-столица эта.

Ты говоришь – моя страна грешна,

А я скажу – твоя страна безбожна.
Пускай на нас еще лежит вина,
Всё искупить и всё исправить можно.

Вокруг тебя – и воды, и цветы.
Зачем же к нищей грешнице стучишься?
Я знаю, чем так тяжко болен ты:
Ты смерти ищешь и конца боишься.

1 января 1917, Слепнево

*** * ***

Там тень моя осталась и тоскует,
В той светло-синей комнате живет,
Гостей из города за полночь ждет
И образок эмалевый целует.
И в доме не совсем благополучно:
Огонь зажгут, а все-таки темно…
Не оттого ль хозяйке новой скучно,
Не оттого ль хозяин пьет вино
И слышит, как за тонкою стеною
Пришедший гость беседует со мною?

3 января 1917, Слепнево

*** * ***

Да, я любила их, те сборища ночные,
На маленьком столе стаканы ледяные,
Над черным кофеем пахучий, тонкий пар,
Камина красного тяжелый, зимний жар,
Веселость едкую литературной шутки
И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий.

5 января 1917, Слепнево

*** * ***

Соблазна не было. Соблазн в тиши живет,
Он постника томит, святителя гнетет

И в полночь майскую над молодой черницей
Кричит истомно раненой орлицей.

А сим распутникам, сим грешницам любезным
Неведомо объятье рук железных.

Начало 1917

* * *

Тот голос, с тишиной великой споря,
Победу одержал над тишиной.
Во мне еще, как песня или горе,
Последняя зима перед войной.

Белее сводов Смольного собора,
Таинственней, чем пышный Летний сад,
Она была. Не знали мы, что скоро
В тоске предельной поглядим назад.

Январь 1917, Петербург

* * *

Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.
Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.

И от лености или со скуки
Все поверили, так и живут:
Ждут свиданий, боятся разлуки
И любовные песни поют.

Но иным открывается тайна,
И почиет на них тишина…
Я на это наткнулась случайно
И с тех пор всё как будто больна.

Январь 1917, Петербург

* * *

Как площади эти обширны,
Как гулки и круты мосты!
Тяжелый, беззвездный и мирный
Над нами покров темноты.

И мы, словно смертные люди,
По свежему снегу идем.
Не чудо ль, что нынче пробудем
Мы час предразлучный вдвоем?

Безвольно слабеют колени,
И кажется, нечем дышать…
Ты– солнце моих песнопений,
Ты – жизни моей благодать.

Вот черные зданья качнутся
И на землю я упаду,
Теперь мне не страшно очнуться
В моем деревенском саду.

10 марта 1917

*** * ***

По твердому гребню сугроба
В твой белый, таинственный дом
Такие притихшие оба
В молчании нежном идем.
И слаще всех песен пропетых
Мне этот исполненный сон,
Качание веток задетых
И шпор твоих легонький звон.

Март 1917

*** * ***

Мы не умеем прощаться,
Все бродим плечо к плечу.
Уже начинает смеркаться,
Ты задумчив, а я молчу.

В церковь войдем, увидим
Отпеванье, крестины, брак,
Не взглянув друг на друга, выйдем…
Отчего всё у нас не так?

Или сядем на снег примятый
На кладбище, легко вздохнем,
И ты палкой чертишь палаты,
Где мы будем всегда вдвоем.

Март 1917, Петербург

*** * ***

И в тайную дружбу с высоким,
Как юный орел темноглазым,
Я, словно в цветник предосенний,
Походкою легкой вошла.
Там были последние розы,
И месяц прозрачный качался
На серых, густых облаках…

Июнь 1917 (вагон), Петербург

* * *

Ты – отступник: за остров зеленый
Отдал, отдал родную страну,
Наши песни, и наши иконы,
И над озером тихим сосну.

Для чего ты, лихой ярославец,
Коль еще не лишился ума,
Загляделся на рыжих красавиц
И на пышные эти дома?

Так теперь и кощунствуй, и чванься,
Православную душу губи,
В королевской столице останься
И свободу свою полюби.

Для чего ж ты приходишь и стонешь
Под высоким окошком моим?
Знаешь сам, ты и в море не тонешь,
И в смертельном бою невредим.

Да, не страшны ни море, ни битвы
Тем, кто сам потерял благодать.
Оттого-то во время молитвы
Попросил ты тебя поминать.

Июль 1917, Слепнево

* * *

Просыпаться на рассвете
Оттого, что радость душит,
И глядеть в окно каюты
На зеленую волну,
Иль на палубе в ненастье,
В мех закутавшись пушистый,
Слушать, как стучит машина,
И не думать ни о чем,
Но, предчувствуя свиданье
С тем, кто стал моей звездою,
От соленых брызг и ветра
С каждым часом молодеть.

Июль 1917, Слепнево

* * *

Это просто, это ясно,
Это всякому понятно,

Ты меня совсем не любишь,
Не полюбишь никогда.
Для чего же так тянуться
Мне к чужому человеку,
Для чего же каждый вечер
Мне молиться за тебя?
Для чего же, бросив друга
И кудрявого ребенка,
Бросив город мой любимый
И родную сторону,
Черной нищенкой скитаюсь
По столице иноземной?
О, как весело мне думать,
Что тебя увижу я!

Лето 1917, Слепнево

*** * ***

Течет река неспешно по долине,
Многооконный на пригорке дом.
А мы живем, как при Екатерине:
Молебны служим, урожая ждем.
Перенеся двухдневную разлуку,
К нам едет гость вдоль нивы золотой,
Целует бабушке в гостиной руку
И губы мне на лестнице крутой.

Лето 1917, Слепнево

*** * ***

Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал,
И дух суровый византийства
От русской церкви отлетал,

Когда приневская столица,
Забыв величие свое,
Как опьяневшая блудница,
Не знала, кто берет ее, —

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.

Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Осень 1917, Петербург

*** * ***

Ты всегда таинственный и новый,
Я тебе послушней с каждым днем.
Но любовь твоя, о друг суровый,
Испытание железом и огнем.

Запрещаешь петь и улыбаться,
А молиться запретил давно.
Только б мне с тобою не расстаться,
Остальное все равно!

Так, земле и небесам чужая,
Я живу и больше не пою,
Словно ты у ада и у рая
Отнял душу вольную мою.

Декабрь 1917

*** * ***

И вот одна осталась я
Считать пустые дни.
О вольные мои друзья,
О лебеди мои!

И песней я не скличу вас,
Слезами не верну.
Но вечером в печальный час
В молитве помяну.

Настигнут смертною стрелой,
Один из вас упал,
И черным вороном другой,
Меня целуя, стал.

Но так бывает: раз в году,
Когда растает лед,
В Екатеринином саду
Стою у чистых вод

И слышу плеск широких крыл
Над гладью голубой.

Не знаю, кто окно раскрыл
В темнице гробовой.

1917. Конец года

*** * ***

Пленник чужой! Мне чужого не надо,
Я и своих-то устала считать.
Так отчего же такая отрада
Эти вишневые видеть уста?

Пусть он меня и хулит и бесславит,
Слышу в словах его сдавленный стон.
Нет, он меня никогда не заставит
Думать, что страстно в другую влюблен.

И никогда не поверю, что можно
После небесной и тайной любви
Снова смеяться и плакать тревожно,
И проклинать поцелуи мои.

1917

*** * ***

Веет ветер лебединый,
Небо синее в крови.
Наступают годовщины
Первых дней твоей любви.

Ты мои разрушил чары,
Годы плыли, как вода.
Отчего же ты не старый,
А такой, как был тогда?

Даже звонче голос нежный,
Только времени крыло
Осенило славой снежной
Безмятежное чело.

1922

*** * ***

Проплывают льдины, звеня,
Небеса безнадежно бледны.
Ах, за что ты караешь меня,
Я не знаю моей вины.

Если надо – меня убей,
Но не будь со мною суров.
От меня не хочешь детей
И не любишь моих стихов.

Всё по-твоему будет: пусть!
Обету верна своему,
Отдала тебе жизнь, но грусть
Я в могилу с собой возьму.

Апрель 1918

*** * ***

От любви твоей загадочной,
Как от боли, в крик кричу,
Стала желтой и припадочной,
Еле ноги волочу.

Новых песен не насвистывай,
Песней долго ль обмануть,
Но когти, когти неистовей
Мне чахоточную грудь,

Чтобы кровь из горла хлынула
Поскорее на постель,
Чтобы смерть из сердца вынула
Навсегда проклятый хмель.

Июль 1918

*** * ***

Для того ль тебя носила
Я когда-то на руках,
Для того ль сияла сила
В голубых твоих глазах!

Вырос стройный и высокий,
Песни пел, мадеру пил,
К Анатолии далекой
Миноносец свой водил.

На Малаховом кургане
Офицера расстреляли.
Без недели двадцать лет
Он глядел на Божий свет.

1918, Петербург

* * *

Чем хуже этот век предшествующих? Разве
Тем, что в чаду печали и тревог
Он к самой черной прикоснулся язве,
Но исцелить ее не мог.

Еще на западе земное солнце светит,
И кровли городов в его лучах блестят,
А здесь уж белая дома крестами метит
И кличет воронов, и вороны летят.

Зима 1919

ПРИЗРАК

Зажженных рано фонарей
Шары висячие скрежещут,
Всё праздничнее, всё светлей
Снежинки, пролетая, блещут.

И, ускоряя ровный бег,
Как бы в предчувствии погони,
Сквозь мягко падающий снег
Под синей сеткой мчатся кони.

И раззолоченный гайдук
Стоит недвижно за санями,
И странно царь глядит вокруг
Пустыми светлыми глазами.

Зима 1919

* * *

Я горькая и старая. Морщины
Покрыли сетью желтое лицо.
Спина согнулась, и трясутся руки.
А мой палач глядит веселым взором
И хвалится искусною работой,
Рассматривая на поблекшей коже
Следы побоев. Господи, прости!

1919

* * *

И слава лебедью плыла
Сквозь золотистый дым.
А ты, любовь, всегда была

Отчаяньем моим.

Десятые годы

ПЕТРОГРАД. 1919

И мы забыли навсегда,
Заключены в столице дикой,
Озера, степи, города
И зори родины великой.
В кругу кровавом день и ночь
Долит жестокая истома…
Никто нам не хотел помочь
За то, что мы остались дома,
За то, что, город свой любя,
А не крылатую свободу,
Мы сохранили для себя
Его дворцы, огонь и воду.

Иная близится пора,
Уж ветер смерти сердце студит,
Но нам священный град Петра
Невольным памятником будет.

* * *

Нам встречи нет. Мы в разных станах,
Туда ль зовешь меня, наглец,
Где брат поник в кровавых ранах,
Принявши ангельский венец?

И ни молящие улыбки,
Ни клятвы дикие твои,
Ни призрак млеющий и зыбкий
Моей счастливейшей любви
Не обольстят…

Июнь 1921

* * *

Наталии Рыковой

Всё расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?

Днем дыханьями веет вишневыми

Небывалый под городом лес,
Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь прозрачных июльских небес, —

И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам…
Никому, никому неизвестное,
Но от века желанное нам.

Июнь 1921

*** * ***

На пороге белом рая,
Оглянувшись, крикнул: «Жду!»
Завещал мне, умирая,
Благостность и нищету.

И когда прозрачно небо,
Видит, крыльями звеня,
Как делюсь я коркой хлеба
С тем, кто просит у меня.

А когда, как после битвы,
Облака плывут в крови,
Слышит он мои молитвы
И слова моей любви.

Июль 1921

*** * ***

А, ты думал – я тоже такая,
Что можно забыть меня
И что брошусь, моля и рыдая,
Под копыта гнедого коня.

Или стану просить у знахарок
В наговорной воде корешок
И пришлю тебе страшный подарок-
Мой заветный душистый платок.

Будь же проклят. Ни стоном, ни взглядом
Окаянной души не коснусь,
Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом-
Я к тебе никогда не вернусь.

Июль 1921, Царское Село

*** * ***

Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать.
Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.
Горькую обновушку
Другу шила я.
Любит, любит кровушку
Русская земля.

16 августа 1921 (вагон)

*** * ***

Страх, во тьме перебирая вещи,
Лунный луч наводит на топор.
За стеною слышен стук зловещий
Что там, крысы, призрак или вор?

В душной кухне плещется водою,
Половицам шатким счет ведет,
С глянцевитой черной бородою
За окном чердачным промелькнет-

И притихнет. Как он зол и ловок,
Спички спрятал и свечу задул.
Лучше бы поблескиванье дул
В грудь мою направленных винтовок,

Лучше бы на площади зеленой
На помост некрашеный прилечь
И под клики радости и стоны
Красной кровью до конца истечь.

Прижимаю к сердцу крестик гладкий:
Боже, мир душе моей верни!
Запах тленья обморочно сладкий
Веет от прохладной простыни.

25 августа 1921

*** * ***

Чугунная ограда,
Сосновая кровать.
Как сладко, что не надо
Мне больше ревновать.

Постель мне стелют эту

С рыданьем и мольбой;
Теперь гуляй по свету
Где хочешь. Бог с тобой!

Теперь твой слух не ранит
Неистовая речь,
Теперь никто не станет
Свечу до утра жечь.

Добились мы покою
И непорочных дней…
Ты плачешь – я не стою
Одной слезы твоей.

27 августа 1921, Царское Село

*** * ***

О, жизнь без завтрашнего дня!
Ловлю измену в каждом слове,
И убывающей Любови
Звезда восходит для меня.

Так незаметно отлетать,
Почти не узнавать при встрече.
Но снова ночь. И снова плечи
В истоме влажной целовать.

Тебе я милой не была,
Ты мне постыл. А пытка длилась,
И как преступница томилась
Любовь, исполненная зла.

То словно брат. Молчишь, сердит.
Но если встретимся глазами
Тебе клянусь я небесами,
В огне расплавится гранит.

29 августа 1921, Царское Село

*** * ***

Памяти Ал. Блока

А Смоленская нынче именинница,
Синий ладан над травою стелется,
И струится пенье панихидное,
Не печальное нынче, а светлое.
И приводят румяные вдовушки
На кладбище мальчиков и девочек
Поглядеть на могилы отцовские,

А кладбище-роща соловьиная,
От сиянья солнечного замерло.
Принесли мы Смоленской Заступнице,
Принесли Пресвятой Богородице
На руках во гробе серебряном
Наше солнце, в муке погасшее,
Александра, лебедя чистого.

Август 1921

*** * ***

Тебе покорной? Ты сошел с ума!
Покорна я одной Господней воле.
Я не хочу ни трепета, ни боли,
Мне муж – палач, а дом его – тюрьма.

Но видишь ли! Ведь я пришла сама…
Декабрь рождался, ветры выли в поле,
И было так светло в твоей неволе,
А за окошком сторожила тьма.

Так птица о прозрачное стекло
Всем телом бьется в зимнее ненастье,
И кровь пятнает белое крыло.

Теперь во мне спокойствие и счастье.
Прощай, мой тихий, ты мне вечно мил
За то, что в дом свой странницу пустил.

Август 1921, Царское Село

*** * ***

Заплаканная осень, как вдова
В одеждах черных, все сердца туманит…
Перебирая мужнины слова,
Она рыдать не перестанет.
И будет так, пока тишайший снег
Не сжалится над скорбной и усталой…
Забвенье боли и забвенье нег-
За это жизнь отдать не мало.

15 сентября 1921, Царское Село

*** * ***

Я гибель накликала милым,
И гибли один за другим.
О, горе мне! Эти могилы

Предсказаны словом моим.
Как вороны кружатся, чуя
Горячую, свежую кровь,
Так дикие песни, ликуя,
Моя насылала любовь.

С тобою мне сладко и знойно,
Ты близок, как сердце в груди.
Дай руки мне, слушай спокойно.
Тебя заклинаю: уйди.

И пусть не узнаю я, где ты,
О Муза, его не зови,
Да будет живым, невоспетым
Моей не узнавший любви.

Октябрь 1921, Петербург

*** * ***

Все души милых на высоких звездах.
Как хорошо, что некого терять
И можно плакать. Царскосельский воздух
Был создан, чтобы песни повторять.

У берега серебряная ива
Касается сентябрьских ярких вод.
Из прошлого восставши, молчаливо
Ко мне навстречу тень моя идет.

Здесь столько лир повешено на ветки…
Но и моей как будто место есть…
А этот дождик, солнечный и редкий,
Мне утешенье и благая весть.

Осень 1921, Царское Село

*** * ***

Я с тобой, мой ангел, не лукавил,
Как же вышло, что тебя оставил
За себя заложницей в неволе
Всей земной непоправимой боли?
Под мостами полыньи дымятся,
Над кострами искры золотятся,
Грузный ветер окаянно воет,
И шальная пуля за Невою
Ищет сердце бедное твое.
И одна в дому оледенелом,
Белая лежишь в сиянье белом,
Славя имя горькое мое.

7 декабря 1921, Петербург

* * *

В тот давний год, когда зажглась любовь
Как крест престольный в сердце обреченном,
Ты кроткою голубкой не прильнула
К моей груди, но коршуном когтила.
Изменой первою, вином проклятья
Ты напоила друга своего.
Но час настал в зеленые глаза
Тебе глядеться, у жестоких губ
Молить напрасно сладостного дара
И клятв таких, каких ты не слыхала,
Каких еще никто не произнес.
Так отравивший воду родника
Для вслед за ним идущего в пустыне
Сам заблудился и, возжаждав сильно,
Источника во мраке не узнал.
Он гибель пьет, прильнув к воде прохладной,
Но гибелью ли жажду утолить?

7-8 декабря 1921

БЕЖЕЦК

Там белые церкви и звонкий, светящийся лед,
Там милого сына цветут васильковые очи.
Над городом древним алмазные русские ночи
И серп поднебесный желтее, чем липовый мед.
Там вьюги сухие взлетают с заречных полей,
И люди, как ангелы. Божьему Празднику рады,
Прибрали светлицу, зажгли у киота лампады,
И Книга Благая лежит на дубовом столе.
Там строгая память, такая скупая теперь,
Свои терема мне открыла с глубоким поклоном;
Но я не вошла, я захлопнула страшную дверь;
И город был полон веселым рождественским звоном.

26 декабря 1921

* * *

Пива светлого наварено,
На столе дымится гусь…
Поминать царя да барина
Станет праздничная Русь —

Крепким словом, прибауткою

За беседою хмельной;
Тот – забор и стою шуткою,
Этот – пьяною слезой.

И несутся речи шумные
От гульбы да от вина…
Порешили люди умные:
– Наше дело – сторона.

1921. Рождество, Бежецк

*** * ***

Земной отрадой сердца не томи,
Не пристращайся ни к жене, ни к дому,
У своего ребенка хлеб возьми,
Чтобы отдать его чужому.
И будь слугой смиреннейшим того,
Кто был твоим кромешным супостатом,
И назови лесного зверя братом,
И не проси у Бога ничего.

Декабрь 1921

*** * ***

В том доме было очень страшно жить,
И ни камина жар патриархальный,
Ни колыбелька нашего ребенка,
Ни то, что оба молоды мы были
И замыслов исполнены…
…и удача
От нашего порога ни на шаг
За все семь лет не смела отойти, —
Не уменьшали это чувство страха.
И я над ним смеяться научилась
И оставляла капельку вина
И крошки хлеба для того, кто ночью
Собакою царапался у двери
Иль в низкое заглядывал окошко,
В то время как мы за полночь старались
Не видеть, что творится в зазеркалье,
Под чьими тяжеленными шагами
Стонали темной лестницы ступеньки,
Как о пощаде жалостно моля.

И говорил ты, странно улыбаясь:
«Кого они по лестнице несут?»

Теперь ты там, где знают всё, – скажи:
Чт? в этом доме жило кроме нас?

1921, Царское Село

КЛЕВЕТА

И всюду клевета сопутствовала мне.
Ее ползучий шаг я слышала во сне
И в мертвом городе под беспощадным небом,
Скитаясь наугад за кровом и за хлебом.
И отблески ее горят во всех глазах,
То как предательство, то как невинный страх.
Я не боюсь ее. На каждый вызов новый
Есть у меня ответ достойный и суровый.
Но неизбежный день уже предвижу я, —
На утренней заре придут ко мне друзья,
И мой сладчайший сон рыданьем потревожат,
И образок на грудь остывшую положат.
Никем не знаема тогда она войдет,
В моей крови ее неутоленный рот
Считать не устает небывшие обиды,
Вплетая голос свой в моленья панихиды.
И станет внятен всем ее постыдный бред,
Чтоб на соседа глаз не мог поднять сосед,
Чтоб в страшной пустоте мое осталось тело,
Чтобы в последний раз душа моя горела
Земным бессилием, летя в рассветной мгле,
И дикой жалостью к оставленной земле.

Январь 1922, Вагон Бежецк – Петербург

* * *

Слух чудовищный бродит по городу,
Забирается в домы, как тать.
Уж не сказку ль про Синюю Бороду
Перед тем, как засну, почитать?

Как седьмая всходила на лестницу,
Как сестру молодую звала,
Милых братьев иль страшную вестницу,
Затаивши дыханье, ждала…

Пыль взметается тучею снежною,
Скачут братья на замковый двор,
И над шеей безвинной и нежною
Не подымется скользкий топор.

Этой сказкою нынче утешена,
Я, наверно, спокойно усну.
Что же сердце колотится бешено,
Что же вовсе не клонит ко сну?

Зима 1922

* * *

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.

Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.

А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара

Не отклонили от себя.
И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час…
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

Июль 1922, Петербург

МНОГИМ

Я – голос ваш, жар вашего дыханья,
Я – отраженье вашего лица.
Напрасных крыл напрасны трепетанья, —
Ведь все равно я с вами до конца.
Вот отчего вы любите так жадно
Меня в грехе и в немощи моей,
Вот отчего вы дали неоглядно
Мне лучшего из ваших сыновей,
Вот отчего вы даже не спросили
Меня ни слова никогда о нем
И чадными хвалами задымили
Мой навсегда опустошенный дом.
И говорят – нельзя теснее слиться,
Нельзя непоправимее любить…
Как хочет тень от тела отделиться,
Как хочет плоть с душою разлучиться,
Так я хочу теперь – забытой быть.

14 сентября 1922

* * *

Для Л. Н. Замятиной

Здравствуй, Питер! Плохо, старый,
И не радует апрель.
Поработали пожары,
Почудили коммунары,
Что ни дом – в болото щель.
Под дырявой крышей стынем,
А в подвале шепот вод:
«Склеп покинем, всех подымем,
Видно, нашим волнам синим
Править городом черед».

24 сентября 1922

*** * ***

Дьявол не выдал. Мне всё удалось.
Вот и могущества явные знаки.
Вынь из груди мое сердце и брось
Самой голодной собаке.

Больше уже ни на что не гожусь,
Ни одного я не вымолвлю слова.
Нет настоящего – прошлым горжусь
И задохнулась от срама такого.

Сентябрь 1922

*** * ***

Небывалая осень построила купол высокий,
Был приказ облакам этот купол собой не темнить.
И дивилися люди: проходят сентябрьские сроки,
А куда провалились студеные, влажные дни?
Изумрудною стала вода замутненных каналов,
И крапива запахла, как розы, но только сильней.
Было душно от зорь, нестерпимых, бесовских и алых,
Их запомнили все мы до конца наших дней.
Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник,
И весенняя осень так жадно ласкалась к нему,
Что казалось – сейчас забелеет прозрачный подснежник…
Вот когда подошел ты, спокойный, к крыльцу моему.

Сентябрь 1922

РАЗЛУКА

Вот и берег северного моря,

Вот граница наших бед и слав, —
Не пойму, от счастья или горя
Плачешь ты, к моим ногам припав.
Мне не надо больше обреченных:
Пленников, заложников, рабов,
Только с милым мне и непреклонным
Буду я делить и хлеб и кров.

Осень 1922

*** * ***

Хорошо здесь: и шелест, и хруст;
С каждым утром сильнее мороз,
В белом пламени клонится куст
Ледяных ослепительных роз.
И на пышных парадных снегах
Лыжный след, словно память о том,
Что в каких-то далеких веках
Здесь с тобою прошли мы вдвоем.

Зима 1922

НОВОГОДНЯЯ БАЛЛАДА

И месяц, скучая в облачной мгле,
Бросил в горницу тусклый взор.
Там шесть приборов стоят на столе,
И один только пуст прибор.

Это муж мой, и я, и друзья мои
Встречаем новый год.
Отчего мои пальцы словно в крови
И вино, как отрава, жжет?

Хозяин, поднявши полный стакан,
Был важен и недвижим:
«Я пью за землю родных полян,
В которой мы все лежим!»

А друг, поглядевши в лицо мое
И вспомнив Бог весть о чем,
Воскликнул: «А я за песни ее,
В которых мы все живем!»
Но третий, не знавший ничего,

Когда он покинул свет,
Мыслям моим в ответ
Промолвил: «Мы выпить должны за того,
Кого еще с нами нет».

1923

* * *

За озером луна остановилась
И кажется отворенным окном
В притихший, ярко освещенный дом,
Где что-то нехорошее случилось.

Хозяина ли мертвым привезли,
Хозяйка ли с любовником сбежала,
Иль маленькая девочка пропала
И башмачок у заводи нашли…

С земли не видно. Страшную беду
Почувствовав, мы сразу замолчали.
Заупокойно филины кричали,
И душный ветер буйствовал в саду.

1922

МУЗА

Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.

И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

1924, Казанская, 2

ХУДОЖНИКУ

Мне все твоя мерещится работа,
Твои благословенные труды:
Лип, навсегда осенних, позолота
И синь сегодня созданной воды.

Подумай, и тончайшая дремота
Уже ведет меня в твои сады,
Где, каждого пугаясь поворота,
В беспамятстве ищу твои следы.

Войду ли я под свод преображенный,
Твоей рукою в небо превращенный,
Чтоб остудился мой постылый жар?…

Там стану я блаженною навеки
И, раскаленные смежая веки,
Там снова обрету я слезный дар.

1924

*** * ***

Я именем твоим не оскверняю уст.
Ничто греховное мой сон не посещает,
Лишь память о тебе как тот библейский куст

Семь страшных лет мне путь мой освещает.
И как приворожить меня прохожий мог,
Веселый человек с зелеными глазами,
Любимец девушек, наездник и игрок.

…
Тому прошло семь лет. Прославленный Октябрь,
Как листья желтые, сметал людские жизни.
А друга моего последний мчал корабль
От страшных берегов пылающей отчизны.

1925 (?)

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

Так просто можно жизнь покинуть эту,
Бездумно и безбольно догореть.
Но не дано Российскому поэту
Такою светлой смертью умереть.

Всего верней свинец душе крылатой
Небесные откроет рубежи,
Иль хриплый ужас лапою косматой
Из сердца, как из губки, выжмет жизнь.

1925

*** * ***

О, знала ль я, когда в одежде белой
Входила Муза в тесный мой приют,
Что к лире, навсегда окаменелой,
Мои живые пальцы припадут.

О, знала ль я, когда неслась, играя,
Моей любви последняя гроза,
Что лучшему из юношей, рыдая,

Закрою я орлиные глаза…

О, знала ль я, когда, томясь успехом,
Я искушала дивную Судьбу,
Что скоро люди беспощадным смехом
Ответят на предсмертную мольбу.

30 мая 1927

*** * ***

Тот город, мной любимый с детства,
В его декабрьской тишине
Моим промотанным наследством
Сегодня показался мне.

Всё, что само давалось в руки,
Что было так легко отдать:
Душевный жар, молений звуки
И первой песни благодать-

Всё унеслось прозрачным дымом,
Истлело в глубине зеркал…
И вот уж о невозвратимом
Скрипач безносый заиграл.

Но с любопытством иностранки,
Плененной каждой новизной,
Глядела я, как мчатся санки,
И слушала язык родной.

И дикой свежестью и силой
Мне счастье веяло в лицо,
Как будто друг от века милый
Всходил со мною на крыльцо.

1929, Царское Село

ПОСЛЕДНИЙ ТОСТ

Я пью за разоренный дом,
За злую жизнь мою,
За одиночество вдвоем
И за тебя я пью, —
За ложь меня предавших уст,
За мертвый холод глаз,
За то, что мир жесток и пуст,
За то, что Бог не спас.

27 июля 1934, Шереметевский Дом

* * *

Привольем пахнет дикий мед,
Пыль – солнечным лучом,
Фиалкою – девичий рот,
А золото – ничем.
Водою пахнет резеда,
И яблоком – любовь.
Но мы узнали навсегда,
Что кровью пахнет только кровь…

И напрасно наместник Рима
Мыл руки пред всем народом
Под зловещие крики черни;
И шотландская королева
Напрасно с узких ладоней
Стирала красные брызги
В душном мраке царского дома…

1934, Ленинград

БОРИС ПАСТЕРНАК
(Поэт)

Он, сам себя сравнивший с конским глазом,
Косится, смотрит, видит, узнает,
И вот уже расплавленным алмазом
Сияют лужи, изнывает лед.

В лиловой мгле покоятся задворки,
Платформы, бревна, листья, облака.
Свист паровоза, хруст арбузной корки,
В душистой лайке робкая рука.

Звенит, гремит, скрежещет, бьет прибоем
И вдруг притихнет, – это значит, он
Пугливо пробирается по хвоям,
Чтоб не спугнуть пространства чуткий сон.

И это значит, он считает зерна
В пустых колосьях, это значит, он
К плите дарьяльской, проклятой и черной,
Опять пришел с каких-то похорон.

И снова жжет московская истома,
Звенит вдали смертельный бубенец…
Кто заблудился в двух шагах от дома,
Где снег по пояс и всему конец…

За то, что дым сравнил с Лаокооном,

Кладбищенский воспел чертополох,
За то, что мир наполнил новым звоном
В пространстве новом отраженных строф, —

Он награжден каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
А он ее со всеми разделил.

19 января 1936, Ленинград

*** * ***

Не прислал ли лебедя за мною,
Или лодку, или черный плот?
Он в шестнадцатом году весною
Обещал, что скоро сам придет.
Он в шестнадцатом году весною
Говорил, что птицей прилечу
Через мрак и смерть к его покою,
Прикоснусь крылом к его плечу.
Мне его еще смеются очи
И теперь, шестнадцатой весной.
Что мне делать! Ангел полуночи
До зари беседует со мной.

Февраль 1936, Москва

*** * ***

Зачем вы отравили воду
И с грязью мой смешали хлеб?
Зачем последнюю свободу
Вы превращаете в вертеп?
За то, что я не издевалась
Над горькой гибелью друзей?
За то, что я верна осталась
Печальной родине моей?
Пусть так. Без палача и плахи
Поэту на земле не быть.
Нам покаянные рубахи,
Нам со свечой идти и выть.

1935

ВОРОНЕЖ

О. М.

И город весь стоит оледенелый.

Как под стеклом деревья, стены, снег.
По хрусталям я прохожу несмело.
Узорных санок так неверен бег.
А над Петром воронежским – вороны,
Да тополя, и свод светло-зеленый,
Размытый, мутный, в солнечной пыли,
И Куликовской битвой веют склоны
Могучей, победительной земли.
И тополя, как сдвинутые чаши,
Над нами сразу зазвенят сильней,
Как будто пьют за ликованье наше
На брачном пире тысячи гостей.

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

4 марта 1936

ЗАКЛИНАНИЕ

Из тюремных ворот,
Из заохтенских болот,
Путем нехоженым,
Лугом некошеным,
Сквозь ночной кордон,
Под пасхальный звон,
Незваный,
Несуженый, —
Приди ко мне ужинать.

15 апреля 1936, Ленинград

ДАНТЕ

Il mio bel San Giovanni
Dante[2]

Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянулся,
Этому я эту песнь пою.
Факел, ночь, последнее объятье,
За порогом дикий вопль судьбы.
Он из ада ей послал проклятье
И в раю не мог ее забыть, —
Но босой, в рубахе покаянной,
Со свечой зажженной не прошел

2

По своей Флоренции желанной,
Вероломной, низкой, долгожданной…

17 августа 1936, Разлив

*** * ***

От тебя я сердце скрыла,
Словно бросила в Неву…
Приручeнной и бескрылой
Я в дому твоем живу.
Только… ночью слышу скрипы.
Что там – в сумраках чужих?
Шереметевские липы…
Перекличка домовых…
Осторожно подступает,
Как журчание воды,
К уху жарко приникает
Черный шепоток беды
И бормочет, словно дело
Ей всю ночь возиться тут:
«Ты уюта захотела,
Знаешь, где он – твой уют?»

30 октября 1936, Ночь

*** * ***

Памяти Н. В. Н.

Одни глядятся в ласковые взоры,
Другие пьют до солнечных лучей,
А я всю ночь веду переговоры
С неукротимой совестью моей.

Я говорю: «Твое несу я бремя
Тяжелое, ты знаешь, сколько лет».
Но для нея не существует время
И для нея пространства в мире нет.

И снова черный масляничный вечер,
Зловещий парк, спокойный бег коня
И полный счастья и веселья ветер,
С небесных круч слетевший на меня.

Но зоркий надо мною и двурогий
Стоит свидетель. О! туда, туда,
Туда по Подкапризовой Дороге,
Где лебеди и черная вода.

3 ноября 1936

ТВОРЧЕСТВО

1

Бывает так: какая-то истома;
В ушах не умолкает бой часов;
Вдали раскат стихающего грома.
Неузнанных и пленных голосов
Мне чудятся и жалобы и стоны,
Сужается какой-то тайный круг,
Но в этой бездне шепотов и звонов
Встает один, все победивший звук.
Так вкруг него непоправимо тихо,
Что слышно, как в лесу растет трава,
Как по земле идет с котомкой лихо…
Но вот уже послышались слова
И легких рифм сигнальные звоночки, —
Тогда я начинаю понимать,
И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь.

5 ноября 1936, Фонтанный Дом

2

Мне ни к чему одические рати
И прелесть элегических затей.
По мне, в стихах все быть должно некстати,
Не так, как у людей.

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене…
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне.

21 января 1940

* * *

Я знаю, с места не сдвинуться
Под тяжестью Виевых век.
О, если бы вдруг откинуться

В какой-то семнадцатый век.
С душистою веткой березовой

Под Троицу в церкви стоять,
С боярынею Морозовой

Сладимый медок попивать,
А после на дровнях в сумерки
В навозном снегу тонуть…
Какой сумасшедший Суриков
Мой последний напишет путь?

1937

НЕМНОГО ГЕОГРАФИИ

О. М.

Не столицею европейской
С первым призом за красоту —
Душной ссылкою енисейской,
Пересадкою на Читу,
На Ишим, на Иргиз безводный,
На прославленный Атбасар,
Пересылкою в лагерь Свободный,
В трупный сумрак прогнивших нар, —
Показался мне город этот
Этой полночью голубой,
Он, воспетый первым поэтом,
Нами грешными – и тобой.

1937

ПАМЯТИ ПИЛЬНЯКА

Всё это разгадаешь ты один…
Когда бессонный мрак вокруг клокочет,
Тот солнечный, тот ландышевый клин
Врывается во тьму декабрьской ночи.
И по тропинке я к тебе иду,
И ты смеешься беззаботным смехом,
Но хвойный лес и камыши в пруду
Ответствуют каким-то странным эхом…
О, если этим мертвого бужу,
Прости меня, я не могу иначе:
Я о тебе, как о своем, тужу
И каждому завидую, кто плачет,
Кто может плакать в этот страшный час
О тех, кто там лежит на дне оврага…
Но выкипела, не дойдя до глаз,
Глаза мои не освежила влага.

1938, Фонтанный Дом. Ночь

* * *

Годовщину последнюю празднуй
Ты пойми, что сегодня точь-в-точь
Нашей первой зимы – той, алмазной
Повторяется снежная ночь.

Пар валит из-под царских конюшен,
Погружается Мойка во тьму,
Свет луны как нарочно притушен,
И куда мы идем – не пойму.

Меж гробницами внука и деда
Заблудился взъерошенный сад.
Из тюремного вынырнув бреда,
Фонари погребально горят.

В грозных айсбергах Марсово поле,
И Лебяжья лежит в хрусталях…
Чья с моею сравняется доля,
Если в сердце веселье и страх.

И трепещет, как дивная птица,
Голос твой у меня над плечом.
И внезапным согретый лучом
Снежный прах так тепло серебрится.

9-10 июля 1939

* * *

Все ушли, и никто не вернулся,
Только, верный обету любви,
Мой последний, лишь ты оглянулся,
Чтоб увидеть все небо в крови.
Дом был проклят, и проклято дело,
Тщетно песня звенела нежней,
И глаза я поднять не посмела
Перед страшной судьбою моей.
Осквернили пречистое слово,
Растоптали священный глагол,
Чтоб с сиделками тридцать седьмого
Мыла я окровавленный пол.
Разлучили с единственным сыном,
В казематах пытали друзей,
Окружили невидимым тыном
Крепко слаженной слежки своей.
Наградили меня немотою,
На весь мир окаянно кляня,
Обкормили меня клеветою,

Опоили отравой меня
И, до самого края доведши,
Почему-то оставили там.
Любо мне, городской сумасшедшей,
По предсмертным бродить площадям.

[1930-е], 1960

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

Что отдал – то твое.
Шота Руставели

Из-под каких развалин говорю,
Из-под какого я кричу обвала,
Я в негашеной извести горю
Под сводами зловонного подвала.
Пусть назовут безмолвною зимой
И вечные навек захлопнут двери,
Но все-таки услышат голос мой
И все-таки ему опять поверят.

[1930-е], 1960, Ленинград

ИВА

И дряхлый пук дерев.
Пушкин

А я росла в узорной тишине,
В прохладной детской молодого века.
И не был мил мне голос человека,
А голос ветра был понятен мне.
Я лопухи любила и крапиву,
Но больше всех серебряную иву.
И, благодарная, она жила
Со мной всю жизнь, плакучими ветвями
Бессонницу овеивала снами.
И – странно! – я ее пережила.
Там пень торчит, чужими голосами
Другие ивы что-то говорят
Под нашими, под теми небесами.
И я молчу… Как будто умер брат.

18 января 1940, Ленинград

ПОДВАЛ ПАМЯТИ

О, погреб памяти.
Хлебников

Но сущий вздор, что я живу грустя
И что меня воспоминанье точит.
Не часто я у памяти в гостях,
Да и она всегда меня морочит.
Когда спускаюсь с фонарем в подвал,
Мне кажется – опять глухой обвал
За мной по узкой лестнице грохочет.
Чадит фонарь, вернуться не могу,
А знаю, что иду туда к врагу.
И я прошу как милости… Но там
Темно и тихо. Мой окончен праздник!
Уж тридцать лет, как проводили дам,
От старости скончался тот проказник…
Я опоздала. Экая беда!
Нельзя мне показаться никуда.
Но я касаюсь живописи стен
И у камина греюсь. Что за чудо!
Сквозь эту плесень, этот чад и тлен
Сверкнули два живые изумруда.
И кот мяукнул. Ну, идем домой!

Но где мой дом и где рассудок мой?

18 января 1940

*** * ***

Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.
По-другому глаза глядят, и губы
Улыбаются другой улыбкой.

Я заметила это, вернувшись
С похорон одного поэта.
И с тех пор проверяла часто,
И моя догадка подтвердилась.

21 января, 7 марта 1940, Ленинград

КЛЕОПАТРА

Александрийские чертоги
Покрыла сладостная тень.

Пушкин

Уже целовала Антония мертвые губы,
Уже на коленях пред Августом слезы лила…
И предали слуги. Грохочут победные трубы
Под римским орлом, и вечерняя стелется мгла.

И входит последний плененный ее красотою,
Высокий и статный, и шепчет в смятении он:
«Тебя – как рабыню… в триумфе пошлет пред собою…»
Но шеи лебяжьей все так же спокоен наклон.
А завтра детей закуют. О, как мало осталось
Ей дела на свете – еще с мужиком пошутить
И черную змейку, как будто прощальную жалость,
На смуглую грудь равнодушной рукой положить.

7 февраля 1940, Фонтанный Дом

МАЯКОВСКИЙ В 1913 ГОДУ

Я тебя в твоей не знала славе,
Помню только бурный твой рассвет,
Но, быть может, я сегодня вправе
Вспомнить день тех отдаленных лет.
Как в стихах твоих крепчали звуки,
Новые роились голоса…
Не ленились молодые руки,
Грозные ты возводил леса.
Все, чего касался ты, казалось
Не таким, как было до тех пор,
То, что разрушал ты, – разрушалось,
В каждом слове бился приговор.
Одинок и часто недоволен,
С нетерпеньем торопил судьбу,
Знал, что скоро выйдешь весел, волен
На свою великую борьбу.
И уже отзывный гул прилива
Слышался, когда ты нам читал,
Дождь косил свои глаза гневливо,
С городом ты в буйный спор вступал.
И еще не слышанное имя
Молнией влетело в душный зал,
Чтобы ныне, всей страной хранимо,
Зазвучать, как боевой сигнал.

3-10 марта 1940

*** * ***

Уложила сыночка кудрявого
И пошла на озеро по воду,
Песни пела, была веселая,
Зачерпнула воды и слушаю:
Мне знакомый голос прислышался,
Колокольный звон
Из-под синих волн,
Так у нас звонили в граде Китеже.
Вот большие бьют у Егория,

А меньшие с башни Благовещенской,
Говорят они грозным голосом:
– Ах, одна ты ушла от приступа,
Стона нашего ты не слышала,
Нашей горькой гибели не видела.
Но светла свеча негасимая
За тебя у престола Божьего.
Что же ты на земле замешкалась?
И венец надеть не торопишься?
Распустился твой крин во полунощи,
И фата до пят тебе соткана.
Что ж печалишь ты брата-воина
И сестру – голубицу-схимницу,
Своего печалишь ребеночка… —
Как последнее слово услышала,
Света я пред собою невзвидела,
Оглянулась, а дом в огне горит.

3-14 марта 1940. Ночь

ПОЗДНИЙ ОТВЕТ

Белорученька моя, чернокнижница…
М. Ц.

Невидимка, двойник, пересмешник…
Что ты прячешься в черных кустах? —
То забьешься в дырявый скворешник,
То блеснешь на погибших крестах,
То кричишь из Маринкиной башни:
«Я сегодня вернулась домой,
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной.
Поглотила любимых пучина,
И разграблен родительский дом».
…
Мы сегодня с тобою, Марина,
По столице полночной идем.
А за нами таких миллионы
И безмолвнее шествия нет…
А вокруг погребальные звоны
Да московские хриплые стоны
Вьюги, наш заметающей след.

16 марта 1940. 1961, Фонтанный Дом – Красная Конница

СТАНСЫ

Стрелецкая луна. Замоскворечье… Ночь.
Как крестный ход, идут часы Страстной Недели.
Я вижу страшный сон. Неужто в самом деле

Никто, никто, никто не может мне помочь.

В Кремле не надо жить – Преображенец прав,
Там зверства древнего еще кишат микробы:
Бориса дикий страх и всех Иванов злобы,
И Самозванца спесь взамен народных прав.

Апрель 1940, Москва

*** * ***

В лесу голосуют деревья.
Н.З.

И вот, наперекор тому,
Что смерть глядит в глаза, —
Опять, по слову твоему,
Я голосую за:
То, чтоб дверью стала дверь,
Замок опять замком,
Чтоб сердцем стал угрюмый зверь
В груди… А дело в том,
Что суждено нам всем узнать,
Что значит третий год не спать,
Что значит утром узнавать
О тех, кто в ночь погиб.

1940

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

М. Лозинскому

Почти от залетейской тени
В тот час, как рушатся миры,
Примите этот дар весенний
В ответ на лучшие дары,
Чтоб та, над временами года,
Несокрушима и верна,
Души высокая свобода,
Что дружбою наречена, —
Мне улыбнулась так же кротко,
Как тридцать лет тому назад…
И сада Летнего решетка,
И оснеженный Ленинград
Возникли, словно в книге этой
Из мглы магических зеркал,
И над задумчивою Летой
Тростник оживший зазвучал.

29 мая 1940, Ленинград. Фонтанный Дом

ТРЕТИЙ ЗАЧАТЬЕВСКИЙ

Переулочек, переул…
Горло петелькой затянул.

Тянет свежесть с Москва-реки.
В окнах теплятся огоньки.

Как по левой руке – пустырь,
А по правой руке – монастырь,

А напротив высокий клен
Красным заревом обагрен.

А напротив – высокий клен,
Ночью слушает долгий стон.

Покосился гнилой фонарь —
С колокольни идет звонарь…

Мне бы тот найти образок,
Оттого что мой близок срок,

Мне бы снова мой черный платок,
Мне бы невской воды глоток.

1922

АВГУСТ 1940

То град твой, Юлиан!
Вяч. Иванов

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит.
И только могильщики лихо
Работают. Дело не ждет!
И тихо, так, Господи, тихо,
Что слышно, как время идет.
А после она выплывает,
Как труп на весенней реке, —
Но матери сын не узнает,
И внук отвернется в тоске.
И клонятся головы ниже,
Как маятник, ходит луна.
Так вот – над погибшим Парижем
Такая теперь тишина.

5 августа 1940, Шереметевский Дом

ТЕНЬ

Что знает женщина одна о смертном часе?

О. Мандельштам

Всегда нарядней всех, всех розовей и выше,
Зачем всплываешь ты со дна погибших лет,
И память хищная передо мной колышет
Прозрачный профиль твой за стеклами карет?
Как спорили тогда – ты ангел или птица!
Соломинкой тебя назвал поэт.
Равно на всех сквозь черные ресницы
Дарьяльских глаз струился нежный свет.
О тень! Прости меня, но ясная погода,
Флобер, бессонница и поздняя сирень
Тебя – красавицу тринадцатого года —
И твой безоблачный и равнодушный день
Напомнили… А мне такого рода
Воспоминанья не к лицу. О тень!

9 августа 1940. Вечер

*** * ***

Памяти М. Булгакова

Вот это я тебе, взамен могильных роз,
Взамен кадильного куренья;
Ты так сурово жил и до конца донес
Великолепное презренье.

Ты пил вино, ты как никто шутил
И в душных стенах задыхался,
И гостью страшную ты сам к себе впустил
И с ней наедине остался.

И нет тебя, и все вокруг молчит
О скорбной и высокой жизни,
Лишь голос мой, как флейта, прозвучит
И на твоей безмолвной тризне.

О, кто подумать мог, что полоумной мне,
Мне, плакальщице дней не бывших,
Мне, тлеющей на медленном огне,
Всех пережившей, все забывшей, —

Придется поминать того, кто, полный сил,

И светлых замыслов, и воли,
Как будто бы вчера со мною говорил,
Скрывая дрожь смертельной боли.

Март 1940, Фонтанный Дом

*** * ***

Соседка – из жалости – два квартала,
Старухи, – как водится, – до ворот,
А тот, чью руку я держала,
До самой ямы со мной пойдет.

И встанет совсем один на свете
Над черной, рыхлой, родной землей,
И громко спросит, но не ответит
Ему, как прежде, голос мой.

17 августа 1940

ЛОНДОНЦАМ

И сделалась война на небе.

Апок.

Двадцать четвертую драму Шекспира
Пишет время бесстрастной рукой.
Сами участники чумного пира,
Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира
Будем читать над свинцовой рекой;
Лучше сегодня голубку Джульетту
С пеньем и факелом в гроб провожать,
Лучше заглядывать в окна к Макбету,
Вместе с наемным убийцей дрожать, —
Только не эту, не эту, не эту,
Эту уже мы не в силах читать!

1940

*** * ***

Не недели, не месяцы – годы
Расставались. И вот наконец
Холодок настоящей свободы
И седой над висками венец.

Больше нет ни измен, ни предательств,
И до света не слушаешь ты,
Как струится поток доказательств
Несравненной моей правоты.

1940

* * *

Один идет прямым путем,
Другой идет по кругу
И ждет возврата в отчий дом,
Ждет прежнюю подругу.
А я иду – за мной беда,
Не прямо и не косо,
А в никуда и в никогда,
Как поезда с откоса.

1940

СОНЕТ

Совсем не тот таинственный художник,
Избороздивший Гофмановы сны, —
Из той далекой и чужой весны
Мне чудится смиренный подорожник.

Он всюду рос, им город зеленел,
Он украшал широкие ступени,
И с факелом свободных песнопений
Психея возвращалась в мой придел.

А в глубине четвертого двора
Под деревом плясала детвора
В восторге от шарманки одноногой,

И била жизнь во все колокола…
А бешеная кровь меня к тебе вела
Сужденной всем, единственной дорогой.

18 января 1941, Ленинград

ЛЕНИНГРАД В МАРТЕ 1941 ГОДА

Cadran solaire[3] на Меншиковом доме.
Подняв волну, проходит пароход.
О, есть ли что на свете мне знакомей,
Чем шпилей блеск и отблеск этих вод!
Как щелочка, чернеет переулок.
Садятся воробьи на провода.
У наизусть затверженных прогулок
Соленый привкус – тоже не беда.

3

1941

КЛЯТВА

И та, что сегодня прощается с милым, —
Пусть боль свою в силу она переплавит.
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит!

Июль 1941, Ленинград

*** * ***

Птицы смерти в зените стоят.
Кто идет выручать Ленинград?
Не шумите вокруг – он дышит,
Он живой еще, он все слышит:
Как на влажном балтийском дне
Сыновья его стонут во сне,
Как из недр его вопли: «Хлеба!»
До седьмого доходят неба…
Но безжалостна эта твердь.
И глядит из всех окон – смерть.
И стоит везде на часах
И уйти не пускает страх.

28 сентября 1941, Самолет

МУЖЕСТВО

Мы знаем, чт? ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, —
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

23 февраля 1942, Ташкент

*** * ***

Щели в саду вырыты,
Не горят огни.
Питерские сироты,
Детоньки мои!

Под землей не дышится,
Боль сверлит висок,
Сквозь бомбежку слышится
Детский голосок.

23 апреля 1942, Ташкент

*** * ***

Постучись кулачком – я открою.
Я тебе открывала всегда.
Я теперь за высокой горою,
За пустыней, за ветром и зноем,
Но тебя не предам никогда…
Твоего я не слышала стона,
Хлеба ты у меня не просил.
Принеси же мне ветку клена
Или просто травинок зеленых,
Как ты прошлой весной приносил.
Принеси же мне горсточку чистой,
Нашей невской студеной воды,
И с головки твоей золотистой
Я кровавые смою следы.

23 апреля 1942, Ташкент

*** * ***

В.Г.

Глаз не свожу с горизонта,
Где мятели пляшут чардаш…
Между нами, друг мой, три фронта:
Наш и вражий и снова наш.
Я боялась такой разлуки
Больше смерти, позора, тюрьмы.
Я молилась, чтоб смертной муки
Удостоились вместе мы.

1942, Ташкент

*** * ***

Какая есть. Желаю вам другую
Получше. Больше счастьем не торгую,
Как шарлатаны и оптовики…
Пока вы мирно отдыхали в Сочи,
Ко мне уже ползли такие ночи,
И я такие слышала звонки!

Не знатной путешественницей в кресле
Я выслушала каторжные песни,
А способом узнала их иным…
…
Над Азией – весенние туманы,
И яркие до ужаса тюльпаны

Ковром заткали много сотен миль.
О, что мне делать с этой чистотою,
Что делать с неподкупностью простою?
О, что мне делать с этими людьми!
Мне зрительницей быть не удавалось,
И почему-то я всегда вклинялась

В запретнейшие зоны естества.
Целительница нежного недуга,
Чужих мужей вернейшая подруга
И многих – безутешная вдова.
Седой венец достался мне не даром,
И щеки, опаленные пожаром,

Уже людей пугают смуглотой.
Но близится конец моей гордыне,
Как той, другой – страдалице Марине, —
Придется мне напиться пустотой.
И ты придешь под черной епанчою,
С зеленоватой страшною свечою,

И не откроешь предо мной лица…
Но мне не долго мучиться загадкой:
Чья там рука под белою перчаткой
И кто прислал ночного пришлеца?

23-24 июня 1942, Ташкент

ПУШКИН

Кто знает, что такое слава!
Какой ценой купил он право,
Возможность или благодать
Над всем так мудро и лукаво
Шутить, таинственно молчать
И ногу ножкой называть?…

7 марта 1943, Ташкент

*** * ***

Как в трапезной – скамейки, стол, окно
С огромною серебряной луною.
Мы кофе пьем и черное вино,

Мы музыкою бредим…
Все равно…
И зацветает ветка над стеною.
В изгнаньи сладость острая была,
Неповторимая, пожалуй, сладость.
Бессмертных роз, сухого винограда
Нам родина пристанище дала.

1943

ХОЗЯЙКА

Е. С. Булгаковой

В этой горнице колдунья
До меня жила одна:
Тень ее еще видна
Накануне новолунья,
Тень ее еще стоит
У высокого порога,
И уклончиво и строго
На меня она глядит.
Я сама не из таких,
Кто чужим подвластен чарам,
Я сама… Но, впрочем, даром
Тайн не выдаю своих.

5 августа 1943, Ташкент

* * *

Как будто страшной песенки
Веселенький припев —
Идет по шаткой лесенке,
Разлуку одолев.
Не я к нему, а он ко мне —
И голуби в окне…
И двор в плюще, и ты в плаще
По слову моему.
Не он ко мне, а я к нему —
во тьму,
во тьму,
во тьму.

16 октября 1943, Ташкент

* * *

А в книгах я последнюю страницу
Всегда любила больше всех других, —

Когда уже совсем неинтересны
Герой и героиня, и прошло
Так много лет, что никого не жалко,
И, кажется, сам автор
Уже начало повести забыл,
И даже «вечность поседела»,
Как сказано в одной прекрасной книге.
Но вот сейчас, сейчас
Все кончится, и автор снова будет
Бесповоротно одинок, а он
Еще старается быть остроумным
Или язвит – прости его господь! —
Прилаживая пышную концовку,
Такую, например:
…И только в двух домах
В том городе (название неясно)
Остался профиль (кем-то обведенный
На белоснежной извести стены),
Не женский, не мужской, но полный тайны.
И, говорят, когда лучи луны —
Зеленой, низкой, среднеазиатской —
По этим стенам в полночь пробегают,
В особенности в новогодний вечер,
То слышится какой-то легкий звук,
Причем одни его считают плачем,
Другие разбирают в нем слова.
Но это чудо всем поднадоело,
Приезжих мало, местные привыкли,
И говорят, в одном из тех домов
Уже ковром закрыт проклятый профиль.

25 ноября 1943, Ташкент

ПОБЕДИТЕЛЯМ

Сзади Нарвские были ворота,
Впереди была только смерть…
Так советская шла пехота
Прямо в желтые жерла «Берт».
Вот о вас и напишут книжки:
«Жизнь свою за други своя»,
Незатейливые парнишки —
Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, —
Внуки, братики, сыновья!

29 февраля 1944, Ташкент

*** * ***

Deprofundis[4]… Мое поколенье
Мало меду вкусило. И вот
Только ветер гудит в отдаленье,
Только память о мертвых поет.
Наше было не кончено дело,
Наши были часы сочтены,
До желанного водораздела,
До вершины великой весны,
До неистового цветенья
Оставалось лишь раз вздохнуть.
Две войны, мое поколенье,
Освещали твой страшный путь.

23 марта 1944, Ташкент

*** * ***

Третью весну встречаю вдали
От Ленинграда.
Третью? И кажется мне, она
Будет последней.
Но не забуду я никогда,
До часа смерти,
Как был отраден мне звук воды
В тени древесной.
Персик зацвел, а фиалок дым
Все благовонней.
Кто мне посмеет сказать, что здесь
Я на чужбине?!

1944—1956

*** * ***

Отстояли нас наши мальчишки.
Кто в болоте лежит, кто в лесу.
А у нас есть лимитные книжки,
Черно-бурую носим лису.

1940-е годы

ГОРОДУ ПУШКИНА

И царскосельские хранительные сени…

Пушкин

О, горе мне! Они тебя сожгли…
О, встреча, что разлуки тяжелее!…

4

Здесь был фонтан, высокие аллеи,
Громада парка древнего вдали,
Заря была себя самой алее,
В апреле запах прели и земли,
И первый поцелуй…

8 ноября 1945, Фонтанный Дом

ПРИЧИТАНИЕ

Ленинградскую беду
Руками не разведу,
Слезами не смою,
В землю не зарою.
Я не словом, не упреком,
Я не взглядом, не намеком,
Я не песенкой наемной,
Я не похвальбой нескромной
…
А земным поклоном
В поле зеленом
Помяну…

1944, Ленинград

* * *

Наше священное ремесло
Существует тысячи лет…
С ним и без света миру светло.
Но еще ни один не сказал поэт,
Что мудрости нет, и старости нет,
А может, и смерти нет.

25 июня 1944, Ленинград

* * *

Опять подошли «незабвенные даты»,
И нет среди них ни одной не проклятой.

Но самой проклятой восходит заря…
Я знаю: колотится сердце не зря —

От звонкой минуты пред бурей морскою
Оно наливается мутной тоскою.

И даже сегодняшний ветреный день
Преступно хранит прошлогоднюю тень,

Как тихий, но явственный стук из подполья,
И сердце на стук отзывается болью.

Я все заплатила до капли, до дна,
Я буду свободна, я буду одна.

На прошлом я черный поставила крест,
Чего же ты хочешь, товарищ зюйд-вест,

Что ломятся в комнату липы и клены,
Гудит и бесчинствует табор зеленый.

И к брюху мостов подкатила вода? —
И всё как тогда, и всё как тогда.

Все ясно – кончается злая неволя,
Сейчас я пройду через Марсово Поле,

А в Мраморном крайнее пусто окно,
Там пью я с тобой ледяное вино,

И там попрощаюсь с тобою навек,
Мудрец и безумец – дурной человек.

Лето 1944—1945. 21 июля 1959, Ленинград

*** * ***

И как всегда бывает в дни разрыва,
К нам постучался призрак первых дней,
И ворвалась серебряная ива
Седым великолепием ветвей.

Нам, исступленным, горьким и надменным,
Не смеющим глаза поднять с земли,
Запела птица голосом блаженным
О том, как мы друг друга берегли.

25 сентября 1944

ЯВЛЕНИЕ ЛУНЫ

А. К.

Из перламутра и агата,
Из задымленного стекла,
Так неожиданно покато
И так торжественно плыла, —
Как будто «Лунная соната»
Нам сразу путь пересекла.

25 сентября 1944

*** * ***

А человек, который для меня
Теперь никто, а был моей заботой
И утешеньем самых горьких лет,
Уже бредет, как призрак по окраинам,
По закоулкам и задворкам жизни,
Тяжелый, одурманенный безумьем,
С оскалом волчьим…
Боже, Боже, Боже!
Как пред тобой я тяжко согрешила!
Оставь мне жалость хоть…

13 января 1945

УЧИТЕЛЬ

Памяти Иннокентия Анненского

А тот, кого учителем считаю,
Как тень прошел и тени не оставил,
Весь яд впитал, всю эту одурь вылил,
И славы ждал, и славы не дождался,
Кто был предвестьем, предзнаменованьем
Всего, что с нами после совершилось,
Всех пожалел, во всех вдохнул томленье —
И задохнулся…

1945

*** * ***

Последний ключ – холодный ключ забвенья.
Он слаще всех жар сердца утолит.

Пушкин

Есть три эпохи у воспоминаний.
И первая – как бы вчерашний день.
Душа под сводом их благословенным,
И тело в их блаженствует тени.
Еще не замер смех, струятся слезы,
Пятно чернил не стерто со стола —
И, как печать на сердце, поцелуй,
Единственный, прощальный, незабвенный…
Но это продолжается недолго…
Уже не свод над головой, а где-то
В глухом предместье дом уединенный,
Где холодно зимой, а летом жарко,

Где есть паук и пыль на всем лежит,
Где истлевают пламенные письма,
Исподтишка меняются портреты,
Куда как на могилу ходят люди,
А возвратившись, моют руки мылом,
И стряхивают беглую слезинку
С усталых век – и тяжело вздыхают…
Но тикают часы, весна сменяет
Одна другую, розовеет небо,
Меняются названья городов,
И нет уже свидетелей событий,
И не с кем плакать, не с кем вспоминать.
И медленно от нас уходят тени,
Которых мы уже не призываем,
Возврат которых был бы страшен нам.
И, раз проснувшись, видим, что забыли
Мы даже путь в тот дом уединенный,
И, задыхаясь от стыда и гнева,
Бежим туда, но (как во сне бывает)
Там все другое: люди, вещи, стены,
И нас никто не знает – мы чужие.
Мы не туда попали… Боже мой!
И вот когда горчайшее приходит!
Мы сознаем, что не могли б вместить
То прошлое в границы нашей жизни,
И нам оно почти что так же чуждо,
Как нашему соседу по квартире,
Что тех, кто умер, мы бы не узнали,
А те, с кем нам разлуку Бог послал,
Прекрасно обошлись без нас – и даже
Всё к лучшему…

5 февраля 1945, Фонтанный Дом

*** * ***

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.

Тютчев

Н.А. О-ой

Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь. В другое русло,
Мимо другого потекла она,
И я своих не знаю берегов.
О, как я много зрелищ пропустила,
И занавес вздымался без меня
И так же падал. Сколько я друзей
Своих ни разу в жизни не встречала,

И сколько очертаний городов
Из глаз моих могли бы вызвать слезы,
А я один на свете город знаю
И ощупью его во сне найду.
И сколько я стихов не написала,
И тайный хор их бродит вкруг меня
И, может быть, еще когда-нибудь
Меня задушит…
Мне ведомы начала и концы,
И жизнь после конца, и что-то,
О чем теперь не надо вспоминать.
И женщина какая-то мое
Единственное место заняла,
Мое законнейшее имя носит,
Оставивши мне кличку, из которой
Я сделала, пожалуй, все, что можно.
Я не в свою, увы, могилу лягу.

Но иногда весенний шалый ветер,
Иль сочетанье слов в случайной книге,
Или улыбка чья-то вдруг потянут
Меня в несостоявшуюся жизнь.
В таком году произошло бы то-то,
А в этом – это: ездить, видеть, думать,
И вспоминать, и в новую любовь
Входить, как в зеркало, с тупым сознаньем
Измены и еще вчера не бывшей
Морщинкой…
…
Но если бы откуда-то взглянула
Я на свою теперешнюю жизнь,
Узнала бы я зависть наконец…

2 сентября 1945, Фонтанный Дом (задумано еще в Ташкенте)

ПАМЯТИ ДРУГА

И в День Победы, нежный и туманный,
Когда заря, как зарево, красна,
Вдовою у могилы безымянной
Хлопочет запоздалая весна.
Она с колен подняться не спешит,
Дохнет на почку и траву погладит,
И бабочку с плеча на землю ссадит,
И первый одуванчик распушит.

8 ноября 1945

*** * ***

Как у облака на краю,

Вспоминаю я речь твою,

А тебе от речи моей
Стали ночи светлее дней.

Так, отторгнутые от земли,
Высоко мы, как звезды, шли.

Ни отчаянья, ни стыда
Ни теперь, ни потом, ни тогда.

Но, живого и наяву,
Слышишь ты, как тебя зову.

И ту дверь, что ты приоткрыл,
Мне захлопнуть не хватит сил.

26 ноября 1945

*** * ***

Истлевают звуки в эфире,
И заря притворилась тьмой.
В навсегда онемевшем мире
Два лишь голоса: твой и мой.
И под ветер с незримых Ладог,
Сквозь почти колокольный звон,
В легкий блеск перекрестных радуг
Разговор ночной превращен.

20 декабря 1945

*** * ***

Я не любила с давних дней,
Чтобы меня жалели,
А с каплей жалости твоей
Иду, как с солнцем в теле.
Вот отчего вокруг заря.
Иду я, чудеса творя,
Вот отчего!

20 декабря 1945

*** * ***

На стеклах нарастает лед,
Часы твердят: «Не трусь!»
Услышать, что ко мне идет,
И мертвой я боюсь.

Как идола, молю я дверь:
«Не пропускай беду!»
Кто воет за стеной, как зверь,
Кто прячется в саду?

1945, Фонтанный Дом

*** * ***

Это рысьи глаза твои, Азия,
Что-то высмотрели во мне,
Что-то выдразнили подспудное
И рожденное тишиной,
И томительное, и трудное,
Как полдневный термезский зной.
Словно вся прапамять в сознание
Раскаленной лавой текла,
Словно я свои же рыдания
Из чужих ладоней пила.

1945

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА

Пора забыть верблюжий этот гам
И белый дом на улице Жуковской.
Пора, пора к березам и грибам,
К широкой осени московской.
Там всё теперь сияет, всё в росе,
И небо забирается высоко,
И помнит Рогачевское шоссе
Разбойный посвист молодого Блока…

1944—1950

*** * ***

Б. П.

И снова осень валит Тамерланом,
В арбатских переулках тишина.
За полустанком или за туманом
Дорога непроезжая черна.
Так вот она, последняя! И ярость
Стихает. Все равно что мир оглох…
Могучая евангельская старость
И тот горчайший гефсиманский вздох.
Здесь всё тебе принадлежит по праву,
Стеной стоят дремучие дожди,

Отдай другим игрушку мира – славу,
Иди домой и ничего не жди.

1947 – 25 октября 1958, Ленинград

*** * ***

Он прав – опять фонарь, аптека,
Нева, безмолвие, гранит…
Как памятник началу века,
Там этот человек стоит
Когда он Пушкинскому Дому,
Прощаясь, помахал рукой
И принял смертную истому
Как незаслуженный покой.

7 июня 1946

*** * ***

Особенных претензий не имею
Я к этому сиятельному дому,
Но так случилось, что почти всю жизнь
Я прожила под знаменитой кровлей
Фонтанного Дворца… Я нищей
В него вошла и нищей выхожу…

1952

*** * ***

Н.П.

И сердце то уже не отзовется
На голос мой, ликуя и скорбя.
Все кончено… И песнь моя несется
В пустую ночь, где больше нет тебя.

1953

*** * ***

Забудут? – вот чем удивили!
Меня забывали сто раз,
Сто раз я лежала в могиле,
Где, может быть, я и сейчас.

А Муза и глохла и слепла,
В земле истлевала зерном,
Чтоб после, как Феникс из пепла,

В эфире восстать голубом.

21 февраля 1957, Ленинград

*** * ***

О.М.

Я над ними склонюсь, как над чашей,
В них заветных заметок не счесть
Окровавленной юности нашей
Это черная нежная весть.

Тем же воздухом, так же над бездной
Я дышала когда-то в ночи,
В той ночи и пустой и железной,
Где напрасно зови и кричи.

О, как пряно дыханье гвоздики,
Мне когда-то приснившейся там,
Это кружатся Эвридики,
Бык Европу везет по волнам.

Это наши проносятся тени
Над Невой, над Невой, над Невой,
Это плещет Нева о ступени,
Это пропуск в бессмертие твой.

Это ключики от квартиры,
О которой теперь ни гу-гу…
Это голос таинственной лиры,
На загробном гостящей лугу.

5 июля 1957, Комарово

АВГУСТ

Он и праведный, и лукавый,
И всех месяцев он страшней:
В каждом Августе, Боже правый,
Столько праздников и смертей.

Разрешенье вина и елея…
Спас, Успение… Звездный свод!…
Вниз уводит, как та аллея,
Где остаток зари алеет,
В беспредельный туман и лед
Вверх, как лестница, он ведет.

Притворялся лесом волшебным,
Но своих он лишился чар.

Был надежды «напитком целебным»
В тишине заполярных нар…
…

А теперь! Ты, новое горе,
Душишь грудь мою, как удав…
И грохочет Черное Море,
Изголовье мое разыскав.

27 августа 1957, Комарово

ЭПИГРАММА

Могла ли Биче словно Дант творить,
Или Лаура жар любви восславить?
Я научила женщин говорить…
Но, Боже, как их замолчать заставить!

1958

*** * ***

Этой ивы листы в девятнадцатом веке увяли,
Чтобы в строчке стиха серебриться свежее стократ.
Одичалые розы пурпурным шиповником стали,
А лицейские гимны все так же заздравно звучат.
Полстолетья прошло… Щедро взыскана дивной судьбою,
Я в беспамятстве дней забывала теченье годов,
И туда не вернусь! Но возьму и за Лету с собою
Очертанья живые моих царскосельских садов.

4 октября 1957, Москва

*** * ***

Не мудрено, что похоронным звоном
Звучит порой непокоренный стих.
Пустынно здесь! Уже за Ахероном
Три четверти читателей моих.

А вы, друзья! Осталось вас немного,
Последние, вы мне еще милей…
Какой короткой сделалась дорога,
Которая казалась всех длинней.

3 марта 1958, Болшево. Комн. № 7

РИСУНОК НА КНИГЕ СТИХОВ

Он не траурный, он не мрачный,

Он почти как сквозной дымок,
Полуброшенной новобрачной
Черно-белый легкий венок.
А под ним тот профиль горбатый,
И парижской челки атлас,
И зеленый, продолговатый,
Очень зорко видящий глаз.

23 мая 1958

ПРИМОРСКИЙ СОНЕТ

Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет.

И голос вечности зовет
С неодолимостью нездешней.
И над цветущею черешней
Сиянье легкий месяц льет.

И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда…

Там средь стволов еще светлее,
И всё похоже на аллею
У царскосельского пруда.

Июнь 1958, Комарово

*** * ***

«…И кто-то приказал мне:
Говори! Припомни все…»

Леон Фелипе. Дознание

Кому и когда говорила,
Зачем от людей не таю,
Что каторга сына сгноила,
Что Музу засекли мою.

Я всех на земле виноватей
Кто был и кто будет, кто есть…
И мне в сумасшедшей палате
Валяться – великая честь.

* * *

М. М. З‹ощенко›

Словно дальнему голосу внемлю,
А вокруг ничего, никого.
В эту черную добрую землю
Вы положите тело его.
Ни гранит, ни плакучая ива
Прах легчайший не осенят,
Только ветры морские с залива,
Чтоб оплакать его, прилетят…

1958, Комарово

ИМЯ (А.А.А.)

Татарское, дремучее
Пришло из никогда,
К любой беде липучее,
Само оно – беда.

1958. Лето

* * *

От меня, как от той графини,
Шел по лесенке винтовой,
Чтоб увидеть рассветный, синий
Страшный час над страшной Невой.

1958

* * *

Непогребенных всех – я хоронила их,
Я всех оплакала, а кто меня оплачет?

1958

ЛЕТНИЙ САД

Я к розам хочу, в тот единственный сад,
Где лучшая в мире стоит из оград,

Где статуи помнят меня молодой,
А я их под невскою помню водой.

В душистой тиши между царственных лип
Мне мачт корабельных мерещится скрип.

И лебедь, как прежде, плывет сквозь века,
Любуясь красой своего двойника.

И замертво спят сотни тысяч шагов
Врагов и друзей, друзей и врагов.

А шествию теней не видно конца
От вазы гранитной до двери дворца.

Там шепчутся белые ночи мои
О чьей-то высокой и тайной любви.

И все перламутром и яшмой горит,
Но света источник таинственно скрыт.

9 июля 1959, Ленинград

ПОЭТ

Подумаешь, тоже работа, —
Беспечное это житье:
Подслушать у музыки что-то
И выдать шутя за свое.

И чье-то веселое скерцо
В какие-то строки вложив,
Поклясться, что бедное сердце
Так стонет средь блещущих нив.

А после подслушать у леса,
У сосен, молчальниц на вид,
Пока дымовая завеса
Тумана повсюду стоит.

Налево беру и направо,
И даже, без чувства вины,
Немного у жизни лукавой,
И все – у ночной тишины.

Лето 1959, Комарово

ЧИТАТЕЛЬ

Не должен быть очень несчастным
И главное скрытным. О нет! —
Чтоб быть современнику ясным,
Весь настежь распахнут поэт.

И рампа торчит под ногами,
Все мертвенно, пусто, светло,

Лайм-лайта позорное пламя
Его заклеймило чело.

А каждый читатель как тайна,
Как в землю закопанный клад,
Пусть самый последний, случайный,
Всю жизнь промолчавший подряд.

Там все, что природа запрячет,
Когда ей угодно, от нас.
Там кто-то беспомощно плачет
В какой-то назначенный час.

И сколько там сумрака ночи,
И тени, и сколько прохлад,
Там те незнакомые очи
До света со мной говорят,

За что-то меня упрекают
И в чем-то согласны со мной…
Так исповедь льется немая,
Беседы блаженнейший зной.

Наш век на земле быстротечен
И тесен назначенный круг,
А он неизменен и вечен —
Поэта неведомый друг.

23 июля 1959, Комарово

НАСЛЕДНИЦА

От Царскосельских лип…

Пушкин

Казалось мне, что песня спета
Средь этих опустелых зал.
О, кто бы мне тогда сказал,
Что я наследую всё это:
Фелицу, лебедя, мосты
И все китайские затеи,
Дворца сквозные галереи
И липы дивной красоты.
И даже собственную тень,
Всю искаженную от страха,
И покаянную рубаху,
И замогильную сирень.

20 ноября 1959, Ленинград

* * *

В ту ночь мы сошли друг от друга с ума,
Светила нам только зловещая тьма,
Свое бормотали арыки,
И Азией пахли гвоздики.

И мы проходили сквозь город чужой,
Сквозь дымную песнь и полуночный зной,
Одни под созвездием Змея,
Взглянуть друг на друга не смея.

То мог быть Стамбул или даже Багдад,
Но, увы! не Варшава, не Ленинград,
И горькое это несходство
Душило, как воздух сиротства.

И чудилось: рядом шагают века,
И в бубен незримая била рука,
И звуки, как тайные знаки,
Пред нами кружились во мраке.

Мы были с тобою в таинственной мгле,
Как будто бы шли по ничейной земле,
Но месяц алмазной фелукой
Вдруг выплыл над встречей-разлукой…

И если вернется та ночь и к тебе
В твоей для меня непонятной судьбе,
Ты знай, что приснилась кому-то
Священная эта минута.

1 декабря 1959, Красная Конница

* * *

О, как меня любили ваши деды,
Улыбчиво, и томно, и светло.
Прощали мне и дольники и бреды
И киевское помело.
Прощали мне (и то всего милее)
Они друг друга…

1960-е годы

СМЕРТЬ ПОЭТА

Как птица, мне ответит эхо.

Б. П.

Умолк вчера неповторимый голос,
И нас покинул собеседник рощ.
Он превратился в жизнь дающий колос
Или в тончайший, им воспетый дождь.
И все цветы, что только есть на свете,
Навстречу этой смерти расцвели.
Но сразу стало тихо на планете,
Носящей имя скромное… Земли.

1 июня 1960, Москва. Боткинская больница

*** * ***

Словно дочка слепого Эдипа,
Муза к смерти провидца вела,
А одна сумасшедшая липа
В этом траурном мае цвела
Прямо против окна, где когда-то
Он поведал мне, что перед ним
Вьется путь золотой и крылатый,
Где он вышнею волей храним.

11 июня 1960, Москва. Боткинская больница

*** * ***

И в памяти черной, пошарив, найдешь
До самого локтя перчатки,
И ночь Петербурга. И в сумраке лож
Тот запах и душный и сладкий.
И ветер с залива. А там, между строк,
Минуя и ахи и охи,
Тебе улыбнется презрительно Блок —
Трагический тенор эпохи.

1960

*** * ***

А я говорю, вероятно, за многих:
Юродивых, скорбных, немых и убогих,
И силу свою мне они отдают,
И помощи скорой и действенной ждут.

30 марта 1961, Кр. Конница

*** * ***

Так не зря мы вместе бедовали,

Даже без надежды раз вздохнуть.
Присягнули – проголосовали
И спокойно продолжали путь.
Не за то, что чистой я осталась,
Словно перед Господом свеча,
Вместе с вами я в ногах валялась
У кровавой куклы палача.
Нет! и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

1961

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ОДА

Девятисотые годы

А в переулке забор дощатый…

Н.Г.

Настоящую оду
Нашептало… Постой,
Царскосельскую одурь
Прячу в ящик пустой,
В роковую шкатулку,
В кипарисный ларец,
А тому переулку
Наступает конец.
Здесь не Темник, не Шуя
Город парков и зал,
Но тебя опишу я,
Как свой Витебск – Шагал.
Тут ходили по струнке,
Мчался рыжий рысак,
Тут еще до чугунки
Был знатнейший кабак.
Фонари на предметы
Лили матовый свет,
И придворной кареты
Промелькнул силуэт.
Так мне хочется, чтобы
Появиться могли
Голубые сугробы
С Петербургом вдали.
Здесь не древние клады,
А дощатый забор,
Интендантские склады
И извозчичий двор.
Шепелявя неловко

И с грехом пополам,
Молодая чертовка
Там гадает гостям.
Там солдатская шутка
Льется, желчь не тая…
Полосатая будка
И махорки струя.
Драли песнями глотку
И клялись попадьей,
Пили допоздна водку,
Заедали кутьей.
Ворон криком прославил
Этот призрачный мир…
А на розвальнях правил
Великан-кирасир.

3 августа 1961, Комарово

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

И в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

1922

В заветных ладанках не носим на груди,
О ней стихи навзрыд не сочиняем,
Наш горький сон она не бередит,
Не кажется обетованным раем.
Не делаем ее в душе своей
Предметом купли и продажи,
Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,
О ней не вспоминаем даже.
Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чем не замешанный прах.
Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно – своею.

1 декабря 1961, Ленинград. Больница в Гавани

*** * ***

И было сердцу ничего не надо,
Когда пила я этот жгучий зной…
«Онегина» воздушная громада,
Как облако, стояла надо мной.

14 апреля 1962, Ленинград

*** * ***

О своем я уже не заплачу,
Но не видеть бы мне на земле
Золотое клеймо неудачи
На еще безмятежном челе.

13 июня 1962

*** * ***

Вот она, плодоносная осень!
Поздновато ее привели.
А пятнадцать блаженнейших весен
Я подняться не смела с земли,
Я так близко ее разглядела,
К ней припала, ее обняла,
А она в обреченное тело
Силу тайную тайно лила.

13 сентября 1962, Комарово

*** * ***

Пусть даже вылета мне нет
Из стаи лебединой…
Увы! лирический поэт
Обязан быть мужчиной,
Иначе все пойдет вверх дном
До часа расставанья
И сад – не сад, и дом – не дом,
Свиданье – не свиданье.

1960-е годы

ПОЭМЫ

РЕКВИЕМ
1935-1940

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

1961

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):

– А это вы можете описать?

И я сказала:

– Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом.

У апреля 1957 г., Ленинград

ПОСВЯЩЕНИЕ

Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река,
Но крепки тюремные затворы,
А за ними «каторжные норы»
И смертельная тоска.
Для кого-то веет ветер свежий,
Для кого-то нежится закат —
Мы не знаем, мы повсюду те же,
Слышим лишь ключей постылый скрежет
Да шаги тяжелые солдат.
Подымались как к обедне ранней,
По столице одичалой шли,
Там встречались, мертвых бездыханней,
Солнце ниже, и Нева туманней,
А надежда все поет вдали.
Приговор… И сразу слезы хлынут,
Ото всех уже отделена,
Словно с болью жизнь из сердца вынут,
Словно грубо навзничь опрокинут,
Но идет… Шатается… Одна.
Где теперь невольные подруги

Двух моих осатанелых лет?
Что им чудится в сибирской вьюге,
Что мерещится им в лунном круге?
Им я шлю прощальный мой привет.

Март 1940 г.

ВСТУПЛЕНИЕ

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки,
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.

I

Уводили тебя на рассвете,
За тобой, как на выносе, шла,
В темной горнице плакали дети,
У божницы свеча оплыла.
На губах твоих холод иконки,
Смертный пот на челе… Не забыть!
Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть.

[Ноябрь] 1935 г., Москва

II

Тихо льется тихий Дон,
Желтый месяц входит в дом.
Входит в шапке набекрень.
Видит желтый месяц тень.
Эта женщина больна,
Эта женщина одна.
Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.

1938

III

Нет, это не я, это кто-то другой страдает,
Я бы так не могла, а то, что случилось,
Пусть черные сукна покроют,
И пусть унесут фонари…
Ночь.

1939

IV

Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей —
Как трехсотая, с передачею,
Под Крестами будешь стоять
И своею слезой горячею
Новогодний лед прожигать.
Там тюремный тополь качается,
И ни звука – а сколько там
Неповинных жизней кончается…

1938

V

Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой,
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.
Все перепуталось навек,
И мне не разобрать
Теперь, кто зверь, кто человек,
И долго ль казни ждать.
И только пышные цветы,
И звон кадильный, и следы
Куда-то в никуда.
И прямо мне в глаза глядит
И скорой гибелью грозит
Огромная звезда.

1939

VI

Легкие летят недели.
Что случилось, не пойму,
Как тебе, сынок, в тюрьму
Ночи белые глядели,
Как они опять глядят
Ястребиным жарким оком,
О твоем кресте высоком
И о смерти говорят.

Весна 1939 г.

VII ПРИГОВОР

И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.

У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.

А не то… Горячий шелест лета
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.

[22 июня] 1939 г., Фонтанный Дом

VIII К СМЕРТИ

Ты все равно придешь – зачем же не теперь?
Я жду тебя – мне очень трудно.
Я потушила свет и отворила дверь
Тебе, такой простой и чудной.
Прими для этого какой угодно вид,
Ворвись отравленным снарядом
Иль с гирькой подкрадись, как опытный бандит,
Иль отрави тифозным чадом.
Иль сказочкой, придуманной тобой
И всем до тошноты знакомой, —
Чтоб я увидела верх шапки голубой
И бледного от страха управдома.
Мне все равно теперь. Клубится Енисей,
Звезда Полярная сияет.
И синий блеск возлюбленных очей
Последний ужас застилает.

19 августа 1939 г., Фонтанный Дом

IX

Уже безумие крылом
Души накрыло половину,
И поит огненным вином,
И манит в черную долину.

И поняла я, что ему
Должна я уступить победу,
Прислушиваясь к своему
Уже как бы чужому бреду.

И не позволит ничего
Оно мне унести с собою
(Как ни упрашивай его
И как ни докучай мольбою):

Ни сына страшные глаза —
Окаменелое страданье,
Ни день, когда пришла гроза,
Ни час тюремного свиданья,

Ни милую прохладу рук,
Ни лип взволнованные тени,
Ни отдаленный легкий звук —
Слова последних утешений.

4 мая 1940 г., Фонтанный Дом

X РАСПЯТИЕ

«Не рыдай Мене, Мати, во гробе зрящи»

1

Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто Меня оставил!»
А Матери: «О, не рыдай Мене…»

1938

2

Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,

А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.

1940, Фонтанный Дом

ЭПИЛОГ

1

Узнала я, как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводит на щеках,
Как локоны из пепельных и черных
Серебряными делаются вдруг,
Улыбка вянет на губах покорных,
И в сухоньком смешке дрожит испуг.
И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною
И в лютый холод, и в июльский зной
Под красною, ослепшею стеною.

2

Опять поминальный приблизился час.
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:

И ту, что едва до окна довели,
И ту, что родимой не топчет земли,

И ту, что, красивой тряхнув головой,
Сказала: «Сюда прихожу, как домой».

Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.

Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.

О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде,

И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ,

Пусть так же они поминают меня
В канун моего поминального дня.

А если когда-нибудь в этой стране

Воздвигнуть задумают памятник мне,

Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем – не ставить его

Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,

Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,

А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.

Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных марусь,

Забыть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.

И пусть с неподвижных и бронзовых век,
Как слезы, струится подтаявший снег,

И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.

Около 10 марта 1940 г., Фонтанный Дом

ПОЭМА БЕЗ ГЕРОЯ

Окончательная редакция
Триптих
(1940—1965)

Deus conservat omnia[5].
Девиз в гербе Фонтанного Дома

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Иных уж нет, а те далече…

Пушкин

Первый раз она пришла ко мне в Фонтанный Дом в ночь на 27 декабря 1940 г., прислав как вестника еще осенью один небольшой отрывок («Ты в Россию пришла ниоткуда…»).

Я не звала ее. Я даже не ждала ее в тот холодный и темный день моей последней ленинградской зимы.

5

Ее появлению предшествовало несколько мелких и не значительных фактов, которые я не решаюсь назвать событиями.

В ту ночь я написала два куска первой части («1913») и «Посвящение». В начале января я почти неожиданно для себя написала «Решку», а в Ташкенте (в два приема) – «Эпилог», ставший третьей частью поэмы, и сделала несколько существенных вставок в обе первые части.

Я посвящаю эту поэму памяти ее первых слушателей – моих друзей и сограждан, погибших в Ленинграде во время осады.

Их голоса я слышу и вспоминаю их, когда читаю поэму вслух, и этот тайный хор стал для меня навсегда оправданием этой вещи.

8 апреля 1943, Ташкент

До меня часто доходят слухи о превратных и нелепых толкованиях «Поэмы без героя». И кто-то даже советует мне сделать поэму более понятной.

Я воздержусь от этого.

Никаких третьих, седьмых и двадцать девятых смыслов поэма не содержит.

Ни изменять ее, ни объяснять я не буду.

«Еже писахъ – писахъ».

Ноябрь 1944, Ленинград

ПОСВЯЩЕНИЕ

Вс. К.

27 декабря 1940

…
…а так как мне бумаги не хватило,
Я на твоем пишу черновике.
И вот чужое слово проступает
И, как тогда снежинка на руке,
Доверчиво и без упрека тает.
И темные ресницы Антиноя[6]
Вдруг поднялись – и там зеленый дым,
И ветерком повеяло родным…
Не море ли?
Нет, это только хвоя
Могильная, и в накипаньи пен
Все ближе, ближе…
Marche funebre[7]…
Шопен.

Ночь, Фонтанный Дом

ВТОРОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

6

7

О. С.

Ты ли, Путаница-Психея[8],
Черно-белым веером вея,
Наклоняешься надо мной,
Хочешь мне сказать по секрету,
Что уже миновала Лету
И иною дышишь весной.
Не диктуй мне, сама я слышу:
Теплый ливень уперся в крышу,
Шепоточек слышу в плюще.
Кто-то маленький жить собрался,
Зеленел, пушился, старался
Завтра в новом блеснуть плаще.
Сплю —
она одна надо мною, —
Ту, что люди зовут весною,
Одиночеством я зову.
Сплю —
мне снится молодость наша,
Та, ЕГО миновавшая чаша;
Я ее тебе наяву,
Если хочешь, отдам на память,
Словно в глине чистое пламя
Иль подснежник в могильном рву.

25 мая 1945, Фонтанный Дом

ТРЕТЬЕ И ПОСЛЕДНЕЕ (Le jour des rois[9])

Раз в Крещенский вечерок…

Жуковский

Полно мне леденеть от страха,
Лучше кликну Чакону Баха,
А за ней войдет человек…
Он не станет мне милым мужем,
Но мы с ним такое заслужим,
Что смутится Двадцатый Век.
Я его приняла случайно
За того, кто дарован тайной,
С кем горчайшее суждено,
Он ко мне во дворец Фонтанный

8

9

Опоздает ночью туманной
Новогоднее пить вино.
И запомнит Крещенский вечер,
Клен в окне, венчальные свечи
И поэмы смертный полет…
Но не первую ветвь сирени,
Не кольцо, не сладость молений —
Он погибель мне принесет.

5 января 1956

ВСТУПЛЕНИЕ

ИЗ ГОДА СОРОКОВОГО,
КАК С БАШНИ, НА ВСЕ ГЛЯЖУ.
КАК БУД-ТО ПРОЩАЮСЬ СНОВА
С ТЕМ, С ЧЕМ ДАВНО ПРОСТИЛАСЬ,
КАК БУД-ТО ПЕРЕКРЕСТИЛАСЬ
И ПОД ТЕМНЫЕ СВОДЫ СХОЖУ.

25 августа 1941, Осажденный Ленинград

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ДЕВЯТЬСОТ ТРИНАДЦАТЫЙ ГОД

Петербургская повесть

Di rider finirai
Pria dell’aurora.

Don Giovanni [10]

Глава первая

Новогодний праздник длится пышно,
Влажны стебли новогодних роз.

1914

С Татьяной нам не ворожить…

Пушкин

Новогодний вечер. Фонтанный Дом. К автору вместо того, кого ждали, приходят тени из тринадцатого года под видом ряженых. Белый зеркальный зал. Лирическое

10

отступление – «Гость из будущего». Маскарад. Поэт. Призрак.

Я зажгла заветные свечи,
Чтобы этот светился вечер,
Дон Жуан *(итал.)*.

И с тобой, ко мне не пришедшим,
Сорок первый встречаю год.
Но…

Господняя сила с нами!
В хрустале утонуло пламя,
«И вино, как отрава, жжет»[11].

Это всплески жесткой беседы,
Когда все воскресают бреды,
А часы все еще не бьют…

Нету меры моей тревоге,
Я сама, как тень на пороге,
Стерегу последний уют.

И я слышу звонок протяжный,
И я чувствую холод влажный,
Каменею, стыну, горю…

И как будто припомнив что-то,
Повернувшись вполоборота,
Тихим голосом говорю:

«Вы ошиблись: Венеция дожей —
Это рядом… Но маски в прихожей
И плащи, и жезлы, и венцы

Вам сегодня придется оставить.
Вас я вздумала нынче прославить,
Новогодние сорванцы!»

Этот Фаустом, тот Дон-Жуаном,
Дапертутто[12], Иоканааном[13],
Самый скромный – северным Гланом,

Иль убийцею Дорианом,
И все шепчут своим дианам
Твердо выученный урок.

А для них расступились стены,

11

12

13

Вспыхнул свет, завыли сирены
И, как купол, вспух потолок.

Я не то что боюсь огласки…
Чт? мне Гамлетовы подвязки,
Чт? мне вихрь Саломеиной пляски,
Чт? мне поступь Железной Маски,
Я еще пожелезней тех…

И чья очередь испугаться,
Отшатнуться, отпрянуть, сдаться
И замаливать давний грех?

Ясно все:
Не ко мне, так к кому же[14]?
Не для них здесь готовился ужин,
И не им со мной по пути.

Хвост запрятал под фалды фрака…
Как он хром и изящен…
Однако

Я надеюсь. Владыку Мрака
Вы не смели сюда ввести?

Маска это, череп, лицо ли —
Выражение злобной боли,
Что лишь Гойя смел передать.

Общий баловень и насмешник,
Перед ним самый смрадный грешник —
Воплощенная благодать…

Веселиться – так веселиться,
Только как же могло случиться,
Что одна я из них жива?

Завтра утро меня разбудит,
И никто меня не осудит,
И в лицо мне смеяться будет
Заоконная синева.

Но мне страшно: войду сама я,
Кружевную шаль не снимая,
Улыбнусь всем и замолчу.

С той, какою была когда-то
В ожерелье черных агатов

14

До долины Иосафата[15]
Снова встретиться не хочу…

Не последние ль близки сроки?…
Я забыла ваши уроки,
Краснобаи и лжепророки! —
Но меня не забыли вы.

Как в прошедшем грядущее зреет,
Так в грядущем прошлое тлеет —
Страшный праздник мертвой листвы.

Б *Звук шагов, тех, которых нету,*
Е *По сияющему паркету*
Л *И сигары синий дымок.*
Ы *И во всех зеркалах отразился*
Й *Человек, что не появился*

И проникнуть в тот зал не мог.
Он не лучше других и не хуже.

З *Но не веет летейской стужей,*
А *И в руке его теплота.*
Л *Гость из Будущего! – Неужели*
Он придет ко мне в самом деле,
Повернув налево с моста?

С детства ряженых я боялась,
Мне всегда почему-то казалось,
Что какая-то лишняя тень

Среди них «без лица и названья»
Затесалась…
Откроем собранье
В новогодний торжественный день!

Ту полночную Гофманиану
Разглашать я по свету не стану
И других бы просила…
Постой,

Ты как будто не значишься в списках,
В калиострах, магах, лизисках[16],
Полосатой наряжен верстой, —

Размалеван пестро и грубо —
Ты…

15

16

ровесник Мамврийского дуба[17],
Вековой собеседник луны.

Не обманут притворные стоны,
Ты железные пишешь законы,
Хаммураби, ликурги, солоны[18]
У тебя поучиться должны.

Существо это странного нрава.
Он не ждет, чтоб подагра и слава
Впопыхах усадила его
В юбилейные пышные кресла,
А несет по цветущему вереску,
По пустыням свое торжество.

И ни в чем не повинен: ни в этом,
Ни в другом и ни в третьем…
Поэтам
Вообще не пристали грехи.

Проплясать пред Ковчегом Завета[19]
Или сгинуть!…
Да что там!
Про это
Лучше их рассказали стихи.

Крик петуший нам только снится,
За окошком Нева дымится,
Ночь бездонна – и длится, длится
Петербургская чертовня…

В черном небе звезды не видно,
Гибель где-то здесь, очевидно,
Но беспечна, пряна, бесстыдна
Маскарадная болтовня…

Крик:
«Героя на авансцену!»
Не волнуйтесь: дылде на смену
Непременно выйдет сейчас
И споет о священной мести…

Что ж вы все убегаете вместе,
Словно каждый нашел по невесте,
Оставляя с глазу на глаз

Меня в сумраке с черной рамой,

17

18

19

Из которой глядит тот самый,
Ставший наигорчайшей драмой
И еще не оплаканный час?

Это все наплывает не сразу.
Как одну музыкальную фразу,
Слышу шепот: «Прощай! Пора!
Я оставлю тебя живою.
Но ты будешь моей вдовою,
Ты – Голубка, солнце, сестра!»
На площадке две слитые тени…
После – лестницы плоской ступени,
Вопль: «Не надо!» и в отдаленьи
Чистый голос:
«Я к смерти готов».

Факелы гаснут, потолок опускается. Белый (зеркальный) зал[20]*снова делается комнатой автора. Слова из мрака:*

Смерти нет – это всем известно,
Повторять это стало пресно,
А что есть – пусть расскажут мне.

Кто стучится?
Ведь всех впустили.
Это гость зазеркальный? Или
То, что вдруг мелькнуло в окне…

Шутки ль месяца молодого,
Или вправду там кто-то снова
Между печкой и шкафом стоит?

Бледен лоб и глаза открыты…
Значит, хрупки могильные плиты,
Значит, мягче воска гранит…

Вздор, вздор, вздор! – От такого вздора
Я седою сделаюсь скоро
Или стану совсем другой.

Что ты манишь меня рукою?!

За одну минуту покоя
Я посмертный отдам покой.

ЧЕРЕЗ ПЛОЩАДКУ

20

Интермедия

Где-то вокруг этого места («…но беспечна, пряна, бесстыдна маскарадная болтовня…») бродили еще такие строки, но я не пустила их в основной текст:

«Уверяю, это не ново…
Вы дитя, синьор Казанова…»
«На Исакьевской ровно в шесть…»

«Как-нибудь побредем по мраку,
Мы отсюда еще в «Собаку»…»[21]
«Вы отсюда куда?» —
«Бог весть!»

Санчо Пансы и Дон-Кихоты
И, увы, содомские Лоты[22]
Смертоносный пробуют сок,

Афродиты возникли из пены,
Шевельнулись в стекле Елены,
И безумья близится срок.

И опять из Фонтанного Грота[23],
Где любовная стонет дремота,
Через призрачные ворота
И мохнатый и рыжий кто-то
Козлоногую приволок.

Всех наряднее и всех выше,
Хоть не видит она и не слышит —
Не клянет, не молит, не дышит,
Голова madame de Lamballe,

А смиренница и красотка,
Ты, что козью пляшешь чечетку,
Снова гулишь томно и кротко:
«Que me veut mon Prince Carnaval[24]?»

И в то же время в глубине залы, сцены, ада или на вершине гетевского Брокена появляется Она же (а может быть – ее тень):

Как копытца, топочут сапожки,
Как бубенчик, звенят сережки,
В бледных локонах злые рожки,
Окаянной пляской пьяна, —

21

22

23

24

Словно с вазы чернофигурной
Прибежала к волне лазурной
Так парадно обнажена.

А за ней в шинели и в каске
Ты, вошедший сюда без маски,
Ты, Иванушка древней сказки,
Что тебя сегодня томит?

Сколько горечи в каждом слове,
Сколько мрака в твоей любови,
И зачем эта струйка крови
Бередит лепесток ланит?

Глава вторая

Иль того ты видишь у своих колен,
Кто для белой смерти твой покинул плен?

1913

Спальня Героини. Горит восковая свеча. Над кроватью три портрета хозяйки дома в ролях. Справа она – Козлоногая, посредине – Путаница, слева – портрет в тени. Одним кажется, что это Коломбина. другим – Донна Анна (из «Шагов Командора»).

За мансардным окном арапчата играют в снежки. Метель. Новогодняя полночь. Путаница оживает, сходит с портрета, и ей чудится голос, который читает:

Распахнулась атласная шубка!
Не сердись на меня, Голубка,
Что коснусь я этого кубка:
Не тебя, а себя казню.

Все равно подходит расплата —
Видишь там, за вьюгой крупчатой
Мейерхольдовы арапчата
Затевают опять возню?

А вокруг старый город Питер,
Что народу бока повытер
(Как тогда народ говорил), —

В гривах, в сбруях, в мучных обозах,
В размалеванных чайных розах
И под тучей вороньих крыл.

Но летит, улыбаясь мнимо,
Над Мариинскою сценой prima,
Ты – наш лебедь непостижимый,
И острит опоздавший сноб.

Звук оркестра, как с того света
(Тень чего-то мелькнула где-то),
Не предчувствием ли рассвета
По рядам пробежал озноб?

И опять тот голос знакомый,
Будто эхо горного грома, —
Ужас, смерть, прощенье, любовь…

Ни на что на земле не похожий,
Он несется, как вестник Божий,
Настигая нас вновь и вновь.

Сучья в иссиня-белом снеге…
Коридор Петровских Коллегий[25]
Бесконечен, гулок и прям

(Что угодно может случиться,
Но он будет упрямо сниться
Тем, кто нынче проходит там).

До смешного близка развязка;
Из-за ширм Петрушкина маска[26],
Вкруг костров кучерская пляска,
Над дворцом черно-желтый стяг…

Все уже на местах, кто надо;
Пятым актом из Летнего сада
Пахнет… Призрак цусимского ада
Тут же. – Пьяный поет моряк…

Как парадно звенят полозья
И волочится полость козья…
Мимо, тени! – Он там один.

На стене его твердый профиль.
Гавриил или Мефистофель
Твой, красавица, паладин?

Демон сам с улыбкой Тамары,
Но такие таятся чары
В этом страшном дымном лице:

Плоть, почти что ставшая духом.
И античный локон над ухом —
Всё таинственно в пришлеце.

25

26

Это он в переполненном зале
Слал ту черную розу в бокале
Или все это было сном?

С мертвым сердцем и мертвым взором
Он ли встретился с Командором,
В тот пробравшись проклятый дом?

И его поведано словом,
Как вы были в пространстве новом,
Как вне времени были вы, —

И в каких хрусталях полярных,
И в каких сияньях янтарных
Там, у устья Леты – Невы.

Ты сбежала сюда с портрета,
И пустая рама до света
На стене тебя будет ждать.

Так плясать тебе – без партнера!
Я же роль рокового хора
На себя согласна принять.

На щеках твоих алые пятна;
Шла бы ты в полотно обратно;
Ведь сегодня такая ночь,
Когда нужно платить по счету…
А дурманящую дремоту
Мне трудней, чем смерть, превозмочь.

Ты в Россию пришла ниоткуда,
О мое белокурое чудо,
Коломбина десятых годов!

Что глядишь ты так смутно и зорко,
Петербургская кукла, актерка[27],
Ты – один из моих двойников.

К прочим титулам надо и этот
Приписать. О подруга поэтов,
Я наследница славы твоей.

Здесь под музыку дивного мэтра,
Ленинградского дикого ветра
И в тени заповедного кедра
Вижу танец придворных костей…

Оплывают венчальные свечи,

27

Под фатой «поцелуйные плечи»,
Храм гремит: «Голубица, гряди!»[28]

Горы пармских фиалок в апреле —
И свиданье в Мальтийской Капелле[29],
Как проклятье в твоей груди.

Золотого ль века виденье
Или черное преступленье
В грозном хаосе давних дней?

Мне ответь хоть теперь:
неужели
Ты когда-то жила в самом деле
И топтала торцы площадей
Ослепительной ножкой своей?…

Дом пестрей комедьянтской фуры,
Облупившиеся амуры
Охраняют Венерин алтарь.

Певчих птиц не сажала в клетку,
Спальню ты убрала как беседку,
Деревенскую девку-соседку
Не узнает веселый скобарь[30].

В стенах лесенки скрыты витые,
А на стенах лазурных святые —
Полукрадено это добро…

Вся в цветах, как «Весна» Боттичелли,
Ты друзей принимала в постели,
И томился драгунский Пьеро, —

Всех влюбленных в тебя суеверней
Тот, с улыбкой жертвы вечерней,
Ты ему как стали – магнит.

Побледнев, он глядит сквозь слезы,
Как тебе протянули розы
И как враг его знаменит.

Твоего я не видела мужа,
Я, к стеклу приникавшая стужа…
Вот он, бой крепостных часов…

Ты не бойся – дом? не м?чу, —

28

29

30

Выходи ко мне смело навстречу —
Гороскоп твой давно готов…

Глава третья

И под аркой на Галерной…

А. Ахматова

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем.

О. Мандельштам

То был последний год…

М. Лозинский

Петербург 1913 года. Лирическое отступление: последнее воспоминание о Царском Селе. Ветер, не то вспоминая, не то пророчествуя, бормочет:

Были святки кострами согреты,
И валились с мостов кареты,
И весь траурный город плыл

По неведомому назначенью,
По Неве иль против теченья, —
Только прочь от своих могил.

На Галерной чернела арка,
В Летнем тонко пела флюгарка.
И серебряный месяц ярко
Над серебряным веком стыл.

Оттого, что по всем дорогам,
Оттого, что ко всем порогам
Приближалась медленно тень,

Ветер рвал со стены афиши,
Дым плясал вприсядку на крыше
И кладбищем пахла сирень.

И царицей Авдотьей заклятый,
Достоевский и бесноватый,
Город в свой уходил туман.

И выглядывал вновь из мрака

Старый питерщик и гуляка,
Как пред казнью бил барабан…

И всегда в духоте морозной,
Предвоенной, блудной и грозной,
Жил какой-то будущий гул…

Но тогда он был слышен глуше,
Он почти не тревожил души
И в сугробах невских тонул.

Словно в зеркале страшной ночи
И беснуется и не хочет
Узнавать себя человек,

А по набережной легендарной
Приближался не календарный —
Настоящий Двадцатый Век.

А теперь бы домой скорее
Камероновой Галереей
В ледяной таинственный сад,
Где безмолвствуют водопады,
Где все девять[31]*мне будут рады,*
Как бывал ты когда-то рад,
Что над юностью встал мятежной,
Незабвенный мой друг и нежный,
Только раз приснившийся сон,
Чья сияла юная сила,
Чья забыта навек могила,
Словно вовсе и не жил он.
Там за островом, там за садом
Разве мы не встретимся взглядом
Наших прежних ясных очей,
Разве ты мне не скажешь снова
Победившее смерть слово
И разгадку жизни моей?

Глава четвертая и последняя

Любовь прошла, и стали ясны
И близки смертные черты.

Вс. К.

Угол Марсова Поля. Дом, построенный в начале XIX века братьями Адамини. В него будет прямое попадание авиабомбы в 1942 голу. Горит высокий костер. Слышны удары

31

колокольного звона от Спаса-на-Крови. На Поле за метелью призрак дворцового бала. В промежутке между этими звуками говорит сама Тишина:

Кто застыл у померкших окон,
На чьем сердце «палевый локон»,
У кого пред глазами тьма?

«Помогите, еще не поздно!
Никогда ты такой морозной
И чужою, ночь, не была!»

Ветер, полный балтийской соли,
Бал метелей на Марсовом Поле
И невидимых звон копыт…

И безмерная в том тревога,
Кому жить осталось немного,
Кто лишь смерти просит у Бога
И кто будет навек забыт.

Он за полночь под окнами бродит,
На него беспощадно наводит
Тусклый луч угловой фонарь, —

И дождался он. Стройная маска
На обратном «Пути из Дамаска»
Возвратилась домой… не одна!

Кто-то с ней «без лица и названья»…
Недвусмысленное расставанье
Сквозь косое пламя костра

Он увидел. Рухнули зданья…
И в ответ обрывок рыданья:
«Ты – Голубка, солнце, сестра! —

Я оставлю тебя живою,
Но ты будешь моей вдовою,
А теперь…
Прощаться пора!»

На площадке пахнет духами,
И драгунский корнет со стихами
И с бессмысленной смертью в груди

Позвонит, если смелости хватит…
Он мгновенье последнее тратит,
Чтобы славить тебя.
Гляди:

Не в проклятых Мазурских болотах,

Не на синих Карпатских высотах…
Он – на твой порог!
Поперек.
Да простит тебя Бог!

(Сколько гибелей шло к поэту,
Глупый мальчик: он выбрал эту, –
Первых он не стерпел обид,
Он не знал, на каком пороге
Он стоит и какой дороги
Перед ним откроется вид...)

Это я – твоя старая совесть
Разыскала сожженную повесть
И на край подоконника
В доме покойника
Положила —
и на цыпочках ушла…

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ВСЕ В ПОРЯДКЕ:ЛЕЖИТ ПОЭМА
И, КАК СВОЙСТВЕННОЕЙ, МОЛЧИТ.
НУ,А В ДРУГ КАК ВЫРВЕТСЯ ТЕМА,
КУЛАКОМ В ОКНО ЗАСТУЧИТ, —
И ОТКЛИКНЕТСЯ ИЗДАЛЕКА
НА ПРИЗЫВ ЭТОТ СТРАШНЫЙ ЗВУК —
КЛОКОТАНИЕ, СТОН И КЛЕКОТ
И ВИДЕНЬЕ СКРЕЩЕННЫХ РУК?…

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
РЕШКА

…я воды Леты пью,
Мне доктором запрещена унылость.

Пушкин

In my beginning is my end.

T. S. Eliot [32]

32

…жасминный куст,
Где Данте шел и воздух пуст.

Н. К.

Место действия – Фонтанный Дом. Время – 5 января 1941 г. В окне призрак оснеженного клена. Только что пронеслась адская арлекинада тринадцатого года, разбудив безмолвие великой молчальницы-эпохи и оставив за собою тот свойственный каждому праздничному или похоронному шествию беспорядок – дым факелов, цветы на полу, навсегда потерянные священные сувениры… В печной трубе воет ветер, и в этом вое можно угадать очень глубоко и очень умело спрятанные обрывки Реквиема. О том, что мерещится в зеркалах, лучше не думать.

I

Мой редактор был недоволен,
Клялся мне, что занят и болен,
Засекретил свой телефон
И ворчал: «Там три темы сразу!
Дочитав последнюю фразу,
Не поймешь, кто в кого влюблен,

II

Кто, когда и зачем встречался,
Кто погиб, и кто жив остался,
И кто автор, и кто герой, —
И к чему нам сегодня эти
Рассуждения о поэте
И каких-то призраков рой?»

III

Я ответила: «Там их трое —
Главный был наряжен верстою,
А Другой как демон одет, —
Чтоб они столетьям достались,
Их стихи за них постарались,
Третий прожил лишь двадцать лет,

IV

И мне жалко его». И снова
Выпадало за словом слово,
Музыкальный ящик гремел.
И над тем флаконом надбитым
Языком кривым и сердитым
Яд неведомый пламенел.

V

А во сне все казалось, что это
Я пишу для Артура либретто,
И отбоя от музыки нет.
А ведь сон – это тоже вещица,
Soft embalmer[33], Синяя птица,
Эльсинорских террас парапет.

VI

И сама я была не рада,
Этой адской арлекинады
Издалека заслышав вой.
Все надеялась я, что мимо
Белой залы, как хлопья дыма,
Пронесется сквозь сумрак хвой.

VII

Не отбиться от рухляди пестрой.
Это старый чудит Калиостро —
Сам изящнейший сатана,
Кто над мертвым со мной не плачет,
Кто не знает, чт? совесть значит
И зачем существует она.

VIII

Карнавальной полночью римской
И не пахнет. Напев Херувимской
У закрытых церквей дрожит.
В дверь мою никто не стучится,
Только зеркало зеркалу снится,
Тишина тишину сторожит.

IX

И со мною моя «Седьмая»[34],
Полумертвая и немая,
Рот ее сведен и открыт,
Словно рот трагической маски,

33

34

Но он черной замазан краской
И сухою землей набит.

X[35]

Враг пытал: «А ну, расскажи-ка».
Но ни слова, ни стона, ни крика
Не услышать ее врагу.
И проходят десятилетья,
Пытки, ссылки и казни – петь я
В этом ужасе не могу.

XI

И особенно, если снится
То, что с нами должно случиться:
Смерть повсюду – город в огне,
И Ташкент в цвету подвенечном…
Скоро там о верном и вечном
Ветр азийский расскажет мне.

XII

Торжествами гражданской смерти
Я по горло сыта. Поверьте,
Вижу их, что ни ночь, во сне.
Отлучить от стола и ложа —
Это вздор еще, но негоже
Выносить, что досталось мне.

XIII

Ты спроси моих современниц,
Каторжанок, «стопятниц», пленниц,
И тебе порасскажем мы,
Как в беспамятном жили страхе,
Как растили детей для плахи,
Для застенка и для тюрьмы.

XIV

Посинелые стиснув губы,
Обезумевшие Гекубы
И Кассандры из Чухломы,

35

Загремим мы безмолвным хором,
Мы, увенчанные позором:
«По ту сторону ада мы…»

XV

Я ль растаю в казенном гимне?
Не дари, не дари, не дари мне
Диадему с мертвого лба.
Скоро мне нужна будет лира,
Но Софокла уже, не Шекспира.
На пороге стоит – Судьба.

XVI

Не боюсь ни смерти, ни срама,
Это тайнопись, криптограмма,
Запрещенный это прием.
Знают все, по какому краю
Лунатически я ступаю
И в какой направляюсь дом.

XVII

Но была для меня та тема
Как раздавленная хризантема
На полу, когда гроб несут.
Между «помнить» и «вспомнить», други,
Расстояние, как от Луги
До страны атласных баут[36].

XVIII

Бес попутал в укладке рыться…
Ну, а как же могло случиться,
Что во всем виновата я?
Я – тишайшая, я – простая,
«Подорожник», «Белая стая»…
Оправдаться… но как, друзья?

XIX

Так и знай: обвинят в плагиате…
Разве я других виноватей?

36

Впрочем, это мне все равно.
Я согласна на неудачу
И смущенье свое не прячу…
У шкатулки ж тройное дно.

XX

Но сознаюсь, что применила
Симпатические чернила…
Я зеркальным письмом пишу,
И другой мне дороги нету —
Чудом я набрела на эту
И расстаться с ней не спешу.

XXI

Чтоб посланец давнего века
Из заветнейших снов Эль Греко
Объяснил мне совсем без слов,
А одной улыбкою летней,
Как была я ему запретней
Всех семи смертельных грехов.

XXII

И тогда из грядущего века
Незнакомого человека
Пусть посмотрят дерзко глаза,
Чтобы он отлетающей тени
Дал охапку мокрой сирени
В час, как эта минет гроза.

XXIII

А столетняя чаровница[37]
Вдруг очнулась и веселиться
Захотела. Я ни при чем.
Кружевной роняет платочек,
Томно жмурится из-за строчек
И брюлловским манит плечом.

XXIV

Я пила ее в капле каждой

37

И бесовскою черной жаждой
Одержима, не знала, как
Мне разделаться с бесноватой:
Я грозила ей Звездной Палатой[38]
И гнала на родной чердак[39],

XXV

В темноту, под Манфредовы ели,
И на берег, где мертвый Шелли,
Прямо в небо глядя, лежал, —
И все жаворонки всего мира[40]
Разрывали бездну эфира
И факел Георг[41]держал.

XXVI

Но она твердила упрямо:
«Я не та английская дама
И совсем не Клара Газуль[42],
Вовсе нет у меня родословной,
Кроме солнечной и баснословной,
И привел меня сам Июль.

XXVII

А твоей двусмысленной славе,
Двадцать лет лежавшей в канаве,
Я еще не так послужу,
Мы с тобой еще попируем,
И я царским моим поцелуем
Злую полночь твою награжу».

3-5 января 1941, Фонтанный Дом; в Ташкенте и после

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ЭПИЛОГ

Быть пусту месту сему…
Евдокия Лопухина

Да пустыни немых площадей,

38
39
40
41
42

Где казнили людей до рассвета.

Анненский

Люблю тебя, Петра творенье!

Пушкин

Моему городу

Белая ночь 24 июня 1942 г. Город в развалинах. От Гавани до Смольного все как на ладони. Кое-где догорают застарелые пожары. В Шереметевском саду цветут липы и поет соловей. Одно окно третьего этажа (перед которым увечный клен) выбито, и за ним зияет черная пустота. В стороне Кронштадта ухают тяжелые орудия. Но в общем тихо. Голос автора, находящегося за семь тысяч километров, произносит:

Так под кровлей Фонтанного Дома,
Где вечерняя бродит истома
С фонарем и связкой ключей, —
Я аукалась с дальним эхом,
Неуместным смущая смехом
Непробудную сонь вещей,
Где, свидетель всего на свете,
На закате и на рассвете
Смотрит в комнату старый клен
И, предвидя нашу разлуку,
Мне иссохшую черную руку,
Как за помощью тянет он.
Но земля под ногой гудела
И такая звезда[43]глядела
В мой еще не брошенный дом
И ждала условного звука…
Это где-то там – у Тобрука,
Это где-то здесь – за углом.
Ты не первый и не последний
Темный слушатель светлых бредней,
Мне какую готовишь месть?
Ты не выпьешь, только пригубишь
Эту горечь из самой глуби —
Этой нашей разлуки весть.
Не клади мне руку на темя —
Пусть навек остановится время
На тобою данных часах.
Нас несчастие не минует
И кукушка не закукует
Вопаленныхнашихлесах…

*** * ***

43

А за проволокой колючей,
В самом сердце тайги дремучей
Я не знаю, который год,
Ставший горстью лагерной пыли,
Ставший сказкой из страшной были,
Мой двойник на допрос идет.
А потом он идет с допроса,
Двум посланцам Девки Безносой
Суждено охранять его.
И я слышу даже отсюда –
Неужели это не чудо! –
Звуки голоса своего:
За тебя я заплатила
Чистоганом,
Ровно десять лет ходила
Под наганом,
Ни налево, ни направо
Не глядела,
А за мной худая слава
Шелестела.

* * *

А не ставший моей могилой,
Ты, крамольный, опальный, милый,
Побледнел, помертвел, затих.
Разлучение наше мнимо:
Ястобоюнеразлучима,
Тень моя на стенах твоих,
Отраженье мое в каналах,
Звук шагов в Эрмитажных залах,
Где со мною мой друг бродил,
И на старом Волковом Поле[44],
Где могу я рыдать на воле
Над безмолвием братских могил.
Все, что сказано в Первой части
О любви, измене и страсти
Сбросил с крыльев свободный стих,
И стоит мой Город «зашитый»…
Тяжелы надгробные плиты
На бессонных очах твоих.
Мне казалось, за мной ты гнался,
Ты, что там погибать остался
В блеске шпилей, в отблеске вод.
Не дождался желанных вестниц…
Над тобой – лишь твоих прелестниц,
Белых ноченек хоровод.

44

А веселое слово – д?ма —
Никому теперь незнакомо,
Все в чужое глядят окно.
Кто в Ташкенте, а кто в Нью-Йорке,
И изгнания воздух горький —
Как отравленное вино.
Все вы мной любоваться могли бы,
Когда в брюхе летучей рыбы
Я от злой погони спаслась
И над полным врагами лесом,
Словно та, одержимая бесом,
Как на Брокен ночной неслась…
И уже предо мною прямо
Леденела и стыла Кама,
И «Quo vadis?»[45]кто-то сказал,
Но не дал шевельнуть устами,
Как тоннелями и мостами
Загремел сумасшедший Урал.
И открылась мне та дорога,
По которой ушло так много,
По которой сына везли,
И был долог путь погребальный
Средь торжественной и хрустальной
Тишины Сибирской Земли.
От того, что сделалось прахом,
Обуянная смертным страхом
И отмщения зная срок,
Опустивши глаза сухие
И ломая руки, Россия
Предо мною шла на восток[46].

Окончено в Ташкенте, 18 августа 1942

‹СТРОФЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ПОЭМУ›

*** * ***

Что бормочешь ты, полночь наша?
Всё равно умерла Параша,
Молодая хозяйка дворца.
Тянет ладаном из всех окон,
Срезан самый любимый локон,
И темнеет овал лица.
Не достроена галерея-
Эта свадебная затея,
Где опять под подсказку Борея
Это всё я для вас пишу.

45

46

5 января 1941

* * *

А за правой стенкой, откуда
Я ушла, не дождавшись чуда,
В сентябре в ненастную ночь-
Старый друг не спит и бормочет,
Что он больше, чем счастья, хочет
Позабыть про царскою дочь.

1955

* * *

Я иду навстречу виденью
И борюсь я с собственной тенью
Беспощаднее нет борьбы.
Рвется тень моя к вечной славе,
Я как страж стою на заставе
И велю ей идти назад…
…
…
Как теперь в Москве говорят.
Я хочу растоптать ногами
Ту, что светится в светлой раме,
Самозванку

Над плечами ее не крылья

Октябрь 1956, Будка

* * *

Верьте мне вы или не верьте,
Где-то здесь в обычном конверте
С вычислением общей смерти
Промелькнет измятый листок.
Он не спрятан, но зашифрован,
Но им целый мир расколдован
И на нем разумно основан
Небытья незримый поток.

Март 1961

* * *

Я еще не таких забывала,
Забывала, представь, навсегда.
Я таких забывала, что имя

Их не смею теперь произнесть,
Так могуче сиянье над ними,
(Превратившихся в мрамор, в камею)
Превратившихся в знамя и честь.

26 августа 1961, Комарово

* * *

Не кружился в Европах бальных,
Рисовал оленей наскальных,
Гильгамеш ты, Геракл,
Гесер Непоэт, амифопоэте,
Взрослым был ты уже на рассвете
Отдаленнейших стран и вер.

* * *

Институтка, кузина, Джульетта!…
Не дождаться тебе корнета,
В монастырь ты уйдешь тайком.
Нем твой бубен, моя цыганка,
И уже почернела ранка
У тебя под левым соском.

* * *

Вкруг него дорогие тени.
Но напрасны слова молений,
Милых губ напрасен привет.
И сияет в ночи алмазной,
Как одно виденье соблазна,
Тот загадочный силуэт.
И с ухватками византийца
С ними там Арлекин-убийца,
А по-здешнему – мэтр и друг.
Он глядит, как будто с картины,
И под пальцами клавесины,
И безмерный уют вокруг.

* * *

Ты приедешь в черной карете,
Царскосельские кони эти
Иупряжкаиха l’anglaise
На минуту напомнят детство
И отвергнутое наследство
…

* * *

Словно память «Народной воли».
Тут уже до Горячего поля,
Вероятно, рукой подать.
И смолкает мой голос вещий.
Тут еще чудеса похлеще,
Но уйдем – мне некогда ждать.

* * *

И уже, заглушая друг друга,
Два оркестра из тайного круга
Звуки шлют в лебединую сень
…
Но где голос мой и где эхо,
В чем спасенье и в чем помеха,
Где сама я и где только тень?
Как спастись от второго шага…

* * *

Вот беда в чем, о дорогая,
Рядом с этой идет другая,
Слышишь легкий шаг и сухой,
А где голос мой и где эхо,
Кто рыдает, кто пьян от смеха —
И которая тень другой?

КОММЕНТАРИИ

Лирика

«И когда друг друга проклинали…» (1909)

Посвящено Николаю Гумилеву.

«Пришли и сказали: „Умер твой брат…“ (1910)

Написано в начале 1910 года. Николай Гумилев, в ноябре 1909, получив наконец от Анны Андреевны Горенко согласие на брак, сразу же уехал в Африку. В Киеве он появился лишь в конце января 1910-го, когда его невеста уже решила, что с ним случилось что-то

недоброе. В ранних стихах Ахматова, обращаясь к Гумилеву, часто называла его «братом».

«Синий вечер. Ветры кротко стихли…» (1910)

«Синий вечер…», как и **«Весенним солнцем это утро пьяно…»** и **«Я написала слова…»,** создан осенью 1910 года, однако, судя по реалиям, в этом триптихе отражена ситуация начала апреля, когда Анна Ахматова ожидала приезда в Киев Николая Гумилева – уже в качестве почти официального жениха.

Он любил…(«Он любил три вещи на свете…») (1910)

Он – Гумилев. Стихотворение написано в Киеве, в ноябре 1910 г., вскоре после очередного отъезда Николая Степановича в Африку, в годовщину их помолвки. Осенью 1909-го А.А.А. получила от Гумилева письмо, которое, по ее словам, наконец-то убедило ее дать согласие на брак. Письмо не сохранилось, но Ахматова запомнила самую главную фразу: «Я понял, что в мире меня интересует только то, что имеет отношение к Вам». Прошел год, и юная супруга с изумлением убедилась: ее мужа интересует слишком многое из того, что не имеет никакого отношения к ней, и прежде всего, конечно, «дальние странствия». При жизни Гумилева, особенно в первые годы замужества это и раздражало, и обижало ее, позднее Ахматова поняла, что обижаться бессмысленно. Гумилев был одержим не «охотой к перемене мест», в его страсти к путешествиям было нечто фатальное: «А путешествия были вообще превыше всего и лекарством от всех недугов». (Из письма Анны Ахматовой к Аманде Хейт, автору первой западной ее биографии). В образе всемирного путешественника является Гумилев и на маскарад мертвых в «Поэме без героя»:

Существо это странного нрава,
Он не ждет, чтоб подагра и слава
Впопыхах усадили его
В юбилейное пышное кресло,
А несет по цветущему вереску,
По пустыням свое торжество…

Сероглазый король (1910)

Одно из самых популярных стихотворений Ахматовой. Популярности способствовали два обстоятельства. Во-первых, его исполнял Вертинский, во-вторых, широко распространенная легенда о любви Ахматовой к Блоку, утверждает: баллада о сероглазом короле посвящена ему. К Вертинскому Ахматова относилась сдержанно, к слухам о связи с Блоком с иронией. В «Записных книжках» сохранился план расширенных воспоминаний под таким названием: «Как у меня не было романа с Блоком».

Подражание И.Ф. Анненскому (1911)

Иннокентия Федоровича Анненского Ахматова знала с детства, он был известным в городе человеком – директором Царскосельской мужской гимназии. Кроме того, его дальний родственник Сергей фон Штейн был женат на старшей сестре Анны Андреевны – Инне. А вот как поэта открыла только после скоропостижной смерти Анненского, прочитав верстку его посмертного сборника «Кипарисовый ларец». Несмотря на название, подражанием в полном смысле слова ахматовский текст не является. Вячеслав Иванов, к примеру, считал, что Ахматова «говорит недосказанное» Анненским, «возвращая те драгоценности», которые

автор «Кипарисового ларца» унес с собой в могилу. Анненскому посвящено и еще одно стихотворение Ахматовой «Учитель».

«Шелестит о прошлом старый дуб…» (1911)

Написано от лица Гумилева. Под очень старым, двухсотлетним дубом в Екатерининском парке Царского Села Николай Гумилев впервые сделал Анне Горенко официальное предложение и впервые получил резкий отказ. Смысл последнего двустишия: «Как давно я знаю твой ответ: Я люблю и не была любима» проясняет дневник Павла Лукницкого, в котором тот в 1924 году записал такое признание А.А.А.: «В течение своей жизни любила только один раз. Только один раз. Но как это было! В Херсонесе три года ждала от него письма. Три года каждый день, по жаре, за несколько верст ходила на почту, и письма так и не получила. Закинув голову на подушку и прижав ко лбу ладони, – с мукой в голосе: „И путешествия, и литература, и война,… и слава, – все, все, все, решительно все, только не любовь. Как проклятье!…И потом эта, одна, единственная – как огнем сожгла все…“ *(П.Н. Лукницкий. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1. С. 44)* . В ахматовском тексте («тонкость рук твоих припоминая…») использована деталь из посвященного ей стихотворения Гумилева «Озеро Чад» *(Сборник «Романтические цветы, 1908)* .

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд, И руки особенно тонки, колени обняв. Послушай: далеко, далеко, на озере Чад Изысканный бродит жираф.

Сергей Есенин, доказывая, что Гумилев – мастер стиха, приводил в качестве примера те же самые строки: «И руки особенно тонки, колени обняв». Дескать, вроде бы синтаксическая погрешность, а на деле на редкость выразительно: сразу все понимать и все видишь: и отношения между мужчиной и женщиной, и ее характер (капризница и недотрога), и давно выбранную ею позу.

«Мне с тобою пьяным весело…» (1911)

Посвящено критику и публицисту Георгию Ивановичу Чулкову. Чулков познакомился с Анной Ахматовой осенью 1910 года, летом следующего, 1911-го, они встречались в Париже. Жена Чулкова свидетельствует, что ее муж и Анна Андреевна появились в Париже одновременно. По-видимому, с реалиями лета 1911 года связано и стихотворение «Прогулка». Любовь Дмитриевна Менделеева-Блок, у которой был краткий ресторанный роман с Чулковым, утверждает, что Георгий Иванович преподавал Блоку ***искусство винопития, а ей науку страсти.***

«А там мой мраморный двойник…» (1911)

Имеется в виду мраморная статуя «Девушка с кувшином» в Екатерининском парке Царского Села. Сохранилась сделанная Н.Н. Пуниным фотография Анны Ахматовой (6 мая 1925 года), а также помеченная тем же числом краткая запись в их «Разговорной книжке»: «Сегодня ходили в парк. К.М. (Пунин. – *А.М.*) снял меня «у девушки». Говорили о царскосельском обществе начала века».

«Смуглый отрок бродил по аллеям…» (1911)

Смуглый отрок – Пушкин. Здание женской гимназии, где училась Анна Ахматова, расположено неподалеку от Лицея, где учился Пушкин. Общим было у них и место для одиноких прогулок – бесконечные аллеи Екатерининского парка, самого большого и нарядного парка Царского Села.

Песня последней встречи (1911)

«Песня последней встречи» стала поэтическим шлягером 1912 года. Корней Чуковский вспоминает: «Когда в „Вечере“ появилось двустишие:

Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки, —

Анна Андреевна сказала смеясь: «Вот увидите, завтра такая-то, – она назвала имя одной из самых юрких поэтесс того времени, – напишет в своих стихах:

Я на правую ногу надела
Калошу с левой ноги.

Предсказание ее скоро сбылось: правда, имитаторша не прикоснулась к перчаткам Ахматовой – зато похитила у нее всю ее лексику, интонацию, все приемы ее мастерства. И таких подражательниц было в те времена очень много… У Есенина все свое, не заемное: и лексика, и интонация, и приемы мастерства. А вот к перчаткам Ахматовой и к ее легендарной шали он все-таки прикоснулся в поэме «Анна Снегина». Есенин приходил с визитом к Анне Ахматовой дважды – под Рождество в декабре 1915-го и десять лет спустя, летом 1924 года с только что вышедшей «Москвой кабацкой». Рассказ Ахматовой об этом визите записан П.Н. Лукницким в его книге «Встречи с Анной Ахматовой» и он, в принципе, совпадает с тем фрагментом поэмы Есенина, где Анна Снегина упрекает автора стихов про кабацкую Русь в том, что тот стал нехорошим. О том же и почти в тех же выражениях говорила и Анна Ахматова Лукницкому: был, мол, Есенин хорошеньким и скромным мальчиком, а стал хулиганом и скандалистом. В этом фрагменте поэмы и появляются фирменные знаки Анны Ахматовой: перчатки и шаль:

«Сергей!
Вы такой нехороший.
Мне жалко,
Обидно мне,
Что пьяные ваши дебоши
Известны по всей стране.
…
Пред вами такая дорога…»
Сгущалась, туманилась даль.
Не знаю, зачем я трогал
Перчатки ее и шаль.

«Муж хлестал меня узорчатым…» (1911)

В связи с этим стихотворением Гумилев, по воспоминаниям Анны Андреевны, сделал ей полушутливое замечание: дескать, ты так похоже изобразила порку, что читатели могут подумать, будто я и вправду тебя поколачиваю.

«Здесь всё то же, то же, что и прежде…» (1912)

Хотя стихотворение написано в Италии, пейзаж, изображенный здесь, – слепневский. Слепнево, тверское имение Гумилевых, было первой настоящей русской деревней, которую

Анна Андреевна увидела не на картинах передвижников, а собственными глазами.

«Помолись о нищей, о потерянной…» (1912)

Написано в Италии и посвящено Н.С. Гумилеву. Весной 1912 года, после выхода сборника «Вечер», чувствовать себя *нищей* и *потерянной* причин у Ахматовой вроде бы не было. И тем не менее сердцем она не лжет, ибо беременность застигла ее врасплох, равно как и путешествие в Италию. Свекровь, мечтавшая о здоровом внуке, заставила сына увезти беременную жену на юг, как можно дальше от питерских дождей. Жару Ахматова, даром что родилась в Одессе, переносила плохо, даже в Рим не смогла поехать, Гумилев отправился в Вечный город один.

«В ремешках пенал и книги были…» (1912)

Посвящено К.С. Гумилеву и является ответом на его шедевр 1911 года – стихотворение «Современность», где звучит та же тема: гимназист с гимназисткой в аллеях Царского Села:

Я закрыл Илиаду и сел у окна,
На губах трепетало последнее слово,
Что-то ярко светило, фонарь или луна
И медлительно двигалась тень часового.
…
Я печален от книги, томлюсь от луны.
Может быть, мне совсем и не надо героя,
Вот идут по аллее, так странно нежны.
Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя.

«Загорелись иглы венчика…» (1912)

Птенчик – Лев Гумилев, родившийся в 1912 г.
18 сентября (по старому стилю).

«Все мы бражники здесь, блудницы…» (1912)

Написано к годовщине открытия «Бродячей собаки». Чрезмерной скромностью разговоры, которые велись в знаменитом литературном кафе – по ночам, через столик, естественно, не отличались, особенно под утро, когда «собачники» слегка одуревали – от шампанского, духоты, табачного дыма. Но ни блуда, ни тотального бражничества в «Собаке» не было. Во всяком случае до войны. Сама Ахматова, во избежание недоразумений, неоднократно напоминала, что «Все мы бражники…» – стихи скучающей и капризничающей девочки, а не роковой соблазнительницы или дамы полусвета.

«Вижу выцветший флаг над таможней…» (1913)

Гумилев перестал относиться к стихам жены как к развлечению любимой уже весной 1911 года, недаром «Вечер» вышел под грифом основанного им литературного объединения «Цех поэтов». Однако прошло еще два года, прежде чем он признал в Анне Большого Поэта. Случилось это после того, как Николай Степанович весной 1913 года по дороге в свое последнее африканское путешествие прочел «Вижу выцветший флаг над таможней…». Уезжал он из Петербурга тяжело больным, но как только ему стало чуть легче, тут же

отправил Анне Андреевне восторженный отзыв: «Я весь день вспоминаю твои стихи о „приморской девчонке“, они мало что нравятся мне, они меня пьянят. Так просто сказано так много, и я совершенно убежден, что из всей послесимволистской поэзии ты, да, пожалуй, (по-своему) Нарбут окажетесь самыми значительными…»

«Знаю, знаю – снова лыжи…»

На великолепные катки Царского Села приезжали из Петербурга и конькобежцы, и любители фигурного катания. В зимние праздники и уик-энды это было самое модное место в окрестностях столицы. Однако Ахматова конькам предпочитала лыжи. На лыжах она умудрялась ходить даже в Ленинграде. Дочь Луниных Ирина вспоминает: «В конце двадцатых годов А.А. охотно устраивала для меня лыжные прогулки по Фонтанке. В такие дни, бодро встав, она одевалась, брала легкие беговые мамины лыжи, а я – свои неуклюжие детские, и мы спускались на лед реки. На лыжах Акума (домашнее имя А.А. Ахматовой. – *А.М.*) шла легко, свободно скользя по лыжне. Я отставала, падала, мерзла. Самые счастливые прогулки кончались заходом к Срезневским. У них была большая квартира на Моховой…»

«Со дня Купальницы-Аграфены…» (1913)

Со дня Купальницы-Аграфены, то есть с 23 июня по старому стилю, на Руси начинали купаться и даже закупываться. День рождения Ахматовой приходился на 23 июня, но… по новому стилю. Однако А.А.А. жила по своему календарю и в народном месяцеслове особо отмечала Аграфену-Купальницу, потому что тоже была купальницей: купалась в любую погоду, а плавала так далеко, что в отрочестве среди сверстников слыла «русалкой».

«Высокие своды костела…» (1913)

Считается, что стихотворение посвящено памяти Михаила Александровича Линдсберга, который «кончил жизнь самоубийством» в декабре 1911 года. Однако этот романтический юноша был не первым самоубийцей, чья смерть произвела на Анну Андреевну тяжелое впечатление. Во-первых, в том же 1911 году застрелился поэт Виктор Гофман, которого Ахматова встречала в Париже весной 1911 года. Об этой смерти она упоминает в одном из вариантов очерка об Амедео Модильяни. Во-вторых, дважды пытался покончить с собой Николай Гумилев, одна из этих попыток была настолько серьезной, что он выжил почти чудом.

«Не будем пить из одного стакана…» (1913)

Посвящено Михаилу Лозинскому, поэту и переводчику, дружба с которым продолжалась до самой его смерти. Уже смертельно больная, Ахматова написала воспоминания о нем.

«Вместо мудрости – опытность, пресное…» (1913)

Обращено к подруге детства Валерии Сергеевне Тюльпановой, в замужестве Срезневской.

«Я с тобой не стану пить вино…» (1914)

Посвящено (предположительно) композитору Артуру Лурье, с которым Ахматова познакомилась 26 января (по старому стилю) 1914 года. Лурье в ту зиму было всего двадцать

лет, поэтому Анна Андреевна и называет его «мальчишкой». В первые послереволюционные годы Артур Сергеевич жил одним домом с подругой Ахматовой Ольгой Глебовой-Судейкиной и даже считал свои отношения с ней гражданским браком. Брак этот, как и все романы «Коломбины десятых годов», был мимолетным, однако до самой эмиграции (лето 1922 года) Лурье продолжал заботиться и об Ольге Судейкиной, и об Анне Андреевне, которую в период бездомья та приютила. Столь же мимолетной была и его влюбленность в Ахматову. Однако с годами воспоминания обогатились, и в старости Артуру Сергеевичу стало казаться, что это была великая любовь, и притом взаимная.

«Я пришла к поэту в гости…» (1914)

В ноябре 1913 Ахматова и Блок выступали на поэтическом вечере в помещении Бестужевских женских курсов. По-видимому, на этом вечере Блок и пригласил Ахматову в гости. Историческое свидание состоялось 15 декабря 1913 года. В автобиографическом очерке Ахматова описала его так: «В одно из последних воскресений тринадцатого года я принесла Блоку его книги, чтобы он их подписал. На каждой он написал просто: „Ахматовой – Блок“… А на третьем томе написал посвященный мне мадригал: „Красота страшна, вам скажут…“. Разумеется, Блок подписывал книги не во время визита, Анна Ахматова получила трехтомник только 6 января 1914 года. В ответное письмо и было вложено стихотворение „Я пришла к поэту в гости…“.

«Целый год ты со мной неразлучен…» (1914)

Есть основания предполагать, что стихотворение посвящено поэту Михаилу Зенкевичу, тому самому «златокудрому Мишеньке», чей сборник «Дикая порфира» вышел одновременно с ахматовским «Вечером». Зенкевич, по воспоминаниям его жены, был долго и безнадежно влюблен в А.А.А. и посвятил ей несколько замечательных стихотворений, которые никогда не публиковал. Например:

В полях бывает лишь такая
Пред тучей грозовая тишь.
Грозе затишьем потакая,
Как изваянье, ты стоишь.
С губ несорвавшееся слово —
Трубой змеящаяся медь, —
Средь мертвой тишины готово,
Как выстрел, гулко прогреметь.
Без слез, без жалоб, без молений
Хочу в последний раз опять
Твои из мрамора колени
Сквозь черный щелк поцеловать.

Осталась в архиве и такие, посвященные А.А.А. стихи:

Богиня к смертному на ложе
По прихоти небес сошла,
Слилась на миг в любовной дрожи
И вознеслась, чиста, светла.
Она – с богами в светлом круге,
А он блаженством с ней сожжен
И не найдет себе подруги

Средь девушек земных и жен.

«Из памяти твоей я выну этот день…» (1915)

Посвящено Б.В. Анрепу.

«Думали: нищие мы, нету у нас ничего…» (1915)

Посвящено Н.С. Гумилеву.

«Есть в близости людей заветная черта…» (1915)

Посвящено Николаю Владимировичу Недоброво, с которым у А.А.А. был недолгий роман, перешедший после появления в ее жизни Бориса Васильевича Анрепа в род влюбленной дружбы.

«Выбрала сама я долю…» (1915)

Как и «Будем вместе, милый вместе…», посвящено Н.С. Гумилеву.

«Широк и желт вечерний свет…» (1915)

Посвящено Б.В. Анрепу.

«Нет, царевич, я не та…» (1915)

Царевич – Б.В. Анреп.

«Я не знаю, ты жив или умер…» (1915)

Посвящено Б.В. Анрепу.

«Всё мне видится Павловск холмистый…» (1915)

Посвящено Н. В. Недоброво.

«Тот август, как желтое пламя…» (1915)

Тот август – август 1914-го;
брат – Николай Гумилев, ушедший добровольцем в первый же месяц войны.

«Ты мне не обещан ни жизнью, ни Богом…» (1916)

Посвящено Б.В. Анрепу.

«Словно ангел, замутивший воду…» (1916)

Посвящено Б.В. Анрепу.

«Я знаю, ты моя награда…» (1915)

Посвящено Б.В. Анрепу.

«Эта встреча никем не воспета…» (1915)

Имеется в виду встреча с Борисом Анрепом ранней весной, в Вербную субботу, 1915 года. Ахматова воспоет этот день в стихотворении «Ждала его напрасно много лет…»

«Небо мелкий дождик сеет…» (1916)

Посвящено Б.В. Анрепу.

«А! Это снова ты. Не отроком влюбленным…» (1916)

Посвящено Н.С. Гумилеву.

Памяти 19 июля 1914 (1916)

19 июля 1914 г. по старому стилю (1 августа по новому) Россия вступила в войну с Германией.

«Вновь подарен мне дремотой…» (1916)

Осенью 1916 года Ахматова приезжала в Крым для последнего свидания с тяжело больным Николаем Владимировичем Недоброво.

«Всё обещало мне его…» (1916)

Посвящено Б.В. Анрепу.

«Судьба ли так моя переменилась…» (1916)

Посвящено первой жене Анрепа, Юнии, на крымской даче которой Ахматова некоторое время гостила, когда приезжала в Севастополь осенью 1916 года.

«Высокомерьем дух твой помрачен…» (1917)

Посвящено Б.В. Анрепу.

«Там тень моя осталась и тоскует…» (1917)

Речь идет о доме Гумилевых в Царском Селе, который был продан в 1916 году.
Синяя комната – комната Ахматовой.

«По твердому гребню сугроба…» (1917)

Посвящено Б.В. Анрепу.

«Мы не умеем прощаться…» (1917)

Посвящено Б.В. Анрепу.

«Ты – отступник: за остров зеленый…»(1917)

Согласно фактам – документам и письмам, собранным Аннабел Фарджен, автором биографии Бориса Анрепа, ни предателем, ни отступником он не был. По-видимому, Ахматова, как и ближайший друг отступника Николай Недоброво, ничего не знала ни о его семейных обстоятельствах (вторая, английская жена и двое крошечных детей), ни о тех служебных (секретных) обязанностях, для исполнения которых Анреп как начальник отдела взрывчатых и химических веществ (в лондонском Русском комитете, созданном «для содействия» экпорту английского оружия для безоружной русской армии) и приезжал в Петербург. Больше того, как следует из переписки Б.В.А. фронтовых лет (1914—1916) с матерью своих детей Хелен Мейтленд, он очень хотел, когда окончится война, перевезти семью в Россию. Смущала его лишь невозможность зарабатывать на родине своим ремеслом. В одном из писем к Хелен (1915) он признается: «Я чувствую себя таким беспомощным в России, не работником, а человеком из общества… В Англии я чувствую себя гораздо свободнее. Кроме того, положение художника, которое есть у меня в Англии, совершенно не признается в России». *(Аннабел Фарджен. С. 92.)* Даже после Октябрьского переворота, в течение многих лет, мнимый отступник не принимал британское подданство, все еще надеясь, что большевики не удержат власть и можно будет вернуться на родину. Единственное, что можно поставить Ахматовой на вид, так это утверждение, будто «лихой ярославец» «отдал за остров зеленый… наши иконы». В действительности, Борис Анреп, единственный из офицеров Южной армии, пользуясь передышками между боями, с риском для жизни, по ночам, с помощью своей отчаянной казачьей команды не только собирал иконы и предметы культа в разрушенных галицийских церквях, но и сумел переправить собранное в Петербург – ныне спасенные им реликвии находятся в Эрмитаже. О чем-о чем, а уж об этом Анна Андреевна не могла не знать, ибо подаренный ей Борисом Анрепом большой деревянный крест того же происхождения, что и вывезенные им из Галиции древние иконы.

«Ты всегда таинственный и новый…» (1917)

Обращено к Владимиру (Вольдемару) Шилейко.

«От любви твоей загадочной…» (1918)

Обращено к В.К. Шилейко.

«Для того ль тебя носила…» (1918)

В 1918 году до Ахматовой дошел глухой слух, что ее младший брат Виктор, морской офицер, расстрелян в Крыму. Слух оказался ложным, Виктору Горенко удалось выбраться из окружения и добраться до Дальнего Востока. Но об этом Ахматова узнала лишь несколько лет спустя.

«Не бывать тебе в живых…» (1921)

Написано 16 августа 1921 года. Гумилев и его товарищи по делу о контреволюционном заговоре были еще живы, друзья надеялись на благополучный исход следствия, но Ахматова чуяла: на этот раз Гумилеву не выбраться из лап смерти.

«Чугунная ограда…» (1921)

Написано 27 августа 1921 года. Гумилева уже два дня как нету в живых, но об этом никто еще не знает, а вещему сердцу Ахматовой уже все ведомо.

«А Смоленская нынче именинница…» (1921)

Александр Блок похоронен в Петербурге на Смоленском кладбище в день праздника Смоленской Божией Матери 10 августа по новому стилю в 1921 году.

«В тот давний год, когда зажглась любовь…» (1921)

Стихотворения написаны от лица казненного Гумилева.

«Небывалая осень построила купол высокий…» (1922)

Стихотворение посвящено Ник. Ник. Пунину.

Воронеж (1936)

Написано после поездки к сосланному в Воронеж Мандельштаму весной 1936 года.

Заклинание (1936)

Написано 15 апреля 1936 года – в день пятидесятилетия со дня рождения Н.С. Гумилева.

Памяти Пильняка (1938)

С прозаиком Б.А. Пильняком, необычайно популярным в 30-е годы, Ахматова познакомилась в 1922-м. По ее словам, Пильняк несколько раз делал ей предложение, бывая в Питере проездом, присылал в Фонтанный Дом корзины цветов, но вряд ли все это выходило за рамки своеобразной формы поклонения красоте и таланту. Стихи были написаны еще до его ареста (1937) и расстрела (1938), но прозвучали как реквием.

Поздний ответ (1940—1961)

Обращено к М.И. Цветаевой, с которой Ахматова впервые увиделась лишь в июне 1941 года, хотя заочно они были знакомы давно, с середины 10-х годов.

Третий Зачатьевский (1940)

В этом переулке (район Остоженки) Ахматова жила в 1918 году, когда приезжала в Москву вместе с В.К. Шилейко.

Тень (1940)

Красавица тринадцатого года – Саломея Андроникова-Гальперн. В Саломею, петербургскую льдинку, был безнадежно влюблен Осип Мандельштам, ей посвящено его стихотворение «Соломинка». В отличие от Глебовой-Судейкиной, Саломея, эмигрировав и Англию, прожила долгую и благополучную жизнь. Лариса Васильева, известная поэтесса и автор бестселлера «Кремлевские жены», познакомившись (в середине восьмидесятых) с

Саломеей Гальперн в ее лондонском особняке, написала о ней: «Мало битое жизнью красивое создание природы, высокомерная и холодная». *Соломинке* в ту пору было уже далеко за девяносто, но ее ***блистательный и равнодушный день*** все еще длился.

«Соседка из жалости – два квартала…» (1940)

Обращено к В.Г. Гаршину.

«Не недели, не месяцы – годы…» (1940—1941)

Обращено к Н.Н. Пунину.

Хозяйка (1943)

Колдунья – Е.С. Булгакова. После ее отъезда из Ташкента, Ахматову переселили из ее каморки на улице Маркса в комнату, где раньше жила Елена Сергеевна.

«И как всегда бывает в дни разрыва…» (1944)

Адресовано Н.Н. Пунину.

Явление луны (1944)

Посвящено ташкенскому композитру Алексею Федоровичу Козловскому.

«А человек, который для меня…» (1945)

Человек – В.Г. Гаршин. Анна Андреевна считала, что Гаршин тяжело болен психически. Он действительно был тяжело болен, но всего лишь тяжелой формой блокадной гипертонии.

«Особенных претензий не имею…» (1952)

Ахматова прожила под кровлей Фонтанного Дома почти тридцать лет. В 1952-м ее вместе с семьей репрессированного Лунина переселили на улицу Красной Конницы.

Рисунок на книге стихов (1958)

Речь идет – о книге «Вечер» (1912).

«От меня, как от той графини…» (1958)

В 1921 году, незадолго до ареста, Гумилев вместе с приятелем навестил Анну Андреевну. Жила она в то лето в одном из своих нищих дворцов, парадный выход по вечерам запирали, и Гумилев вынужден был уходить черным ходом, по узкой и витой потайной лесенке в кромешной тьме. Ахматова, провожая гостей, пошутила: по такой лесенке – только на казнь! Шутка оказалась пророческой.

«В ту ночь мы сошли друг от друга с ума…» (1959)

Посвящено композитору Алексею Козловскому, с которым Ахматова познакомилась в

Ташкенте, в канун 1942 года. Дружба с Козловским и его женой не прервалась и после отъезда А.А. из Ташкента.

Смерть поэта («Умолк вчера непотворимый голос…») (1960)

Посвящено Борису Пастернаку.

«Словно дочка слепого Эдипа…» (1960)

Весть о смерти Пастернака настигла Ахматову в Боткинской больнице, проводить ***провидца*** в последний путь она не смогла.

Поэмы

Реквием (1934—1940)

Долгие годы эта поэма из отдельных стихов существовала только в памяти нескольких доверенных лиц, которым Ахматова доверяла больше, чем себе. Только 1962 году, после того, как «Новый мир» опубликовал повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», А.А.А. позволила друзьям ее переписывать. О том, как это происходило, вспоминает поэтесса Наталья Горбаневская: «У нее дома – не дома, конечно, а на тех московских квартирах, где она жила в ту зиму, – переписывали десятки людей, и почти каждый из них, разумеется, продолжал распростанение. От меня одной в течение зимы – весны 1963 года (хоть у меня и не было своей машинки) разошлось не менее сотни экземпляров… По моей оценке, уже в течение 1963 года самиздатовский тираж „Реквиема“ исчислялся тысячами».

Поэма без героя (1940—1965)

По количеству истолкований последняя поэма Ахматовой обогнала самые загадочные произведения российской словесности, однако загадка этого уникального текста так и не разрешилась, даже теперь, когда опубликованы и ахматовские «Записные книжки» и вся, без изъятья, ее «Проза о Поэме». Что-то несказанное было, видимо, и в отношении самой Ахматовой к этому тексту – как если бы не она властвовала над ним, а он над ней. Когда кто-то из друзей перебелил, переплел один из первых вариантов «Поэмы без героя», а затем в принаряженнном виде вернул автору, Ахматова отозвалась такими стихами:

И ты ко мне вернулась знаменитой,
Темно-зеленой веточкой повитой,
Изящна, равнодушна и горда…
Я не такой тебя когда-то знала,
И я не для того тебя спасала
Из месива кровавого тогда.
Не буду я делить с тобой удачу,
Я не ликую над тобой, а плачу,
И ты прекрасно знаешь почему.
И ночь идет, и сил осталось мало.
Спаси ж меня, как я тебя спасала,
И не пускай в клокочущую тьму.

Поэма ***спасала*** Анну Ахматову в течение двадцати трудных лет и отпустила во тьму только поздней осенью 1965 года, в канун своего двадцатилетнего присутствия в жизни автора. Той же осенью Анну Всея Руси свалил последний инфаркт, от которого ей уже не суждено было оправиться.